

Ἑρμηνεία

Журнал философских переводов

№1 (2) 2010



Главный редактор *Олег Матвейчев*

Заместитель главного редактора *Эльфир Сагетдинов*

Дизайн и верстка *Сергей Зиновьев*

Корректор *Елена Макеева*



Содержание

Ульрих Викерт. Об истоках эллинизации христианства. <i>Перевод Э. Сагетдинова</i>	3
Алоиз М. Хаас. Событие в философской и теологической перспективе. <i>Перевод Э. Сагетдинова</i>	16
Мартин Хайдеггер. Вклады в дело философии (продолжение). <i>Перевод Э. Сагетдинова</i>	34
Джозеф Хиллис Миллер. О двойном диегезисе у Платона. <i>Перевод И. Джохадзе</i>	71
Бруно Латур. Научные объекты и правовая объективность. <i>Перевод Д. Аронсона, В. Долгорукова, Я. Загорко.</i>	78

Об истоках эллинизации христианства

УЛЬРИХ ВИКЕРТ

*Перевод с немецкого Эльфира Сагетдинова по изданию:
Philotheos. International Journal for Philosophie and Theology.
№ 1. 2001. P. 90 – 99.*

1. Предварительный вопрос: что такое эллинизм?

Когда речь заходит об эллинизации христианства, сразу вспоминается не об Элладе (Древней Греции), а об эллинизме. Поэтому прежде всего необходимо разобраться в понятиях. Эллинизм, как это могло бы показаться, не есть воплощение эллинской (древнегреческой) сущности и культуры Древней Греции. Этот термин ввел в XIX в. историк Иоганн Густав Дройзен для обозначения культурно-исторической эпохи, начавшейся с Александра Великого. Александр был македонским царем с 336 по 323 гг. до н. э. Благодаря его походам греческая культура проникла в страны Ближнего и Среднего Востока, что положило начало развитию эллинизма на Востоке. Этот термин нелегко определить; его рассмотрение возможно в самых различных аспектах. Продолжает ли эллинизм культуру Древней Греции в новых условиях или речь идет о новой культуре, характеризующейся взаимопроникновением элементов греческой и восточных культур? Но ни в коем случае эллинизм, распространившийся для того времени во всемирном масштабе, нельзя просто отождествлять с духом старого полиса, Грецией Платона и Аристотеля. Греческие традиции в эллинистический период как будто перешли в иное агрегатное состояние. И об этом свидетельствует господствующая в то время философия стоицизма, если справедлив тезис классического филолога Макса Поленца о том, что корни стоического мышления обнаруживают следы семитского влияния; достаточно указать на факт, что там, где классическая греческая философия говорит о νόος¹, духовном начале, стоик

1 *нус* — мысль, мировой разум (греч.). — Здесь и далее примечания переводчика.

имеет дело с $\alpha\rho\delta\acute{\iota}\alpha^2$, с сердцем как центром личности человека. Об этом мы знаем из Библии. Изменение условий жизни породило в то время новую духовную атмосферу благодаря *смешению* и *синтезу* — двум разным процессам. В целом при освоении эллинистического мышления ранним христианством и древней Церковью речь идет о сознательно осуществленном синтезе, который в значительной мере опирался на истолкование текстов и совершался, согласно современному словоупотреблению, герменевтически.

Решающим было то, что греческий язык в форме так называемого койнэ, т. е. общеупотребительного языка, охватывал все страны таким образом, что, по выражению английского исследователя Уильяма Тарна, «он мог довести от Марселя до Индии и от Каспийского моря до порогов Нила». Греческий был английским античного мира. Доступный нам первоначальный текст Нового Завета был написан на греческом. Даже в Риме греческий язык имел официальное хождение. Самый древний документ в истории Церкви «Первое послание св. Климента» был написан в Риме около 96 г. не на латыни, а на греческом языке; о послании мы еще скажем. Культурными центрами эллинизма преимущественно были Александрия в Египте, Антиохия в Сирии, а также малоазиатский город Тарс, родной город еврея Савла, назвавшегося римским именем Paulus (Павел). В ходе своих завоеваний Ближнего Востока римляне противостояли некоему замкнутому культурному миру, при этом они не могли противопоставить ему ничего равноценного и безоговорочно перенимали у побежденных греческую (эллинистическую) образованность.

2. От партикулярности к универсальности

Тема моей статьи — «Об истоках эллинизации христианства» — звучит как слишком частный вопрос, поэтому ее можно переформулировать следующим образом: каким образом получилось так, что христианство из маленького палестинского уголка, где оно взяло начало, столь мощно, столь решительно и уверенно в своей будущности смогло вступить в широкий простор мира эллинизма? Можно указать на причины внешнего порядка: во-первых, космополитическое мировое чувство (*Weltgefühl*), которое было духовно обосновано ведущим философским учением эллинизма стоицизмом и распространялось в историческом пространстве, разомкнутом Александром Македонским. Во-вторых, приостановка в захватнической политике Рима во время *Pax Romana* (Римского мира) при Августе. Эти два обстоятельства создали

² *кардиа* — сердце (греч.)

в этом пусть даже ограниченном, но становящемся единым мире некое всеобъемлющее вместилище, в котором и маленький ручеек стал способен вырасти в море.

Разумеется, это было бы невозможным, если бы в самом христианстве не было силы для такого роста. И как раз здесь мы сталкиваемся с удивительным феноменом: то, что на первый взгляд казалось частным явлением, совершенно неожиданно раскрылось в своем универсальном значении. Это можно выразить притчей, рассказанной Иисусом, о том, что в ростке дерева, столь малом, как горчичное зерно, уже содержатся большие ветви, «так что под тенью его могут укрываться птицы небесные» (Мк 4, 31 – 32). И когда хананейка приступила к Христу, моля Его исцелить ее беснующуюся дочь, Он сказал в ответ, как нам может показаться, слишком жестокие слова: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 15, 24). И все же свершившееся позже исцеление было вознаграждением за удивившую Его самую глубокую веру и материнскую мудрость этой женщины. А затем тот же св. Матфей, повествующий об этом, так передает слово Воскресшего: «...дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их..., уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф 28, 18 – 20).

Там — только дом израилев, здесь — уже все народы: в одном и том же Евангелии обособленную самодостаточность сменил некий всеобъемлющий горизонт, который на самом деле открылся не чем иным, как воскрешением распятого Иисуса из Назарета или, формулируя осторожнее, верой в Его воскресение. И все же я — как историк! — должен настаивать: речь не может идти исключительно о том, что ученики, с видениями или без таковых, пришли к *идее*, что, как это сформулировал один из исследователей Нового Завета, дело Иисуса продолжается!³ Как бы ни были по-разному стилизованы свидетельства евангелистов о воскрешении и пришествии то, что после катастрофического разгрома остановило учеников в их рассеянии по всему свету и, по всей вероятности, под водительством Петра вернуло их в Иерусалим должно было стать на этой таинственной границе между *Здесь* и *Там неким заложившим основу и непрестанно обосновывающим изначальным опытом, осознаваемым опытом призвания и предназначения* в явлении Воскресшего.

Разумеется, поначалу ученикам, имеющим свои корни в иудаизме, было трудно проповедовать Евангелие в его охватывающем все народы значении. Если кто-то захотел бы стать христианином, не становясь сначала иудеем, то в контексте верности традициям это было бы трудно разрешимой проблемой. И решение такого рода проблем пришло не от первых апостолов, не-

3 «Die Sache Jesu geht weiter». Марксен (Marxen) Вилли (1919—1993), немецкий протестантский исследователь Нового Завета.

смотря на исторически неверифицируемую роль, которую, согласно «Деяниям святых апостолов» Луки, взял на себя апостол Петр как миссионер, обращающий язычников (Деян, 10). Решение пришло совсем с другой стороны, а именно от тех евреев, которые, живя в эллинистической диаспоре и говоря по-гречески, вдохнули в себя нечто от «аромата большого и просторного мира» и начали воспринимать отеческий закон в некоей свободе, скорее одухотворяющей его букву. Показательным примером такого развития, получившего здесь новый толчок, был Павел, ставший, благодаря судьбоносному сочетанию нескольких факторов, одной из великих личностей, в которых сосредотачиваются сущностные вопросы эпохи и жизнью которых решаются.

Павел стоял на точке пересечения трех духовных миров, откуда он мог обозревать раскрывшийся ему в своей целостности мир. Это пересечение было образовано,

во-первых, центром эллинистической образованности Тарсом в Малой Азии, который, как уже было отмечено, мог поспорить с Антиохией и Александрией. *Во-вторых*, Павел был страстно убежденным иудеем, он сам о себе говорит в «Послании к филиппийцам» (Флп 3, 5–9): «по учению фарисей... по правде законной — непорочный». *В-третьих*, в Римской империи он был дома, я имею в виду «Послание к римлянам» (Рим 13). Я намеренно выражаюсь неопределенно, так как здесь было бы необходимо предварительное понимание того, в каком смысле Павел мог владеть правами римского гражданства, о факте владения которыми говорится в «Деяниях святых апостолов» (Деян 22, 25); во всяком случае эти права (Isopolitie) все же могли быть только потенциальными, поскольку он как иудей, державшийся в стороне от языческого культа, едва ли мог актуализировать их. Это и есть «духовное пересечение трех миров» — эллинизма, иудаизма и римской культуры. Но причиной того, что осуществленный таким образом панорамный взгляд на средиземноморский мир того времени мог стать импульсом для того, чтобы, как это метафорически говорит сам Павел в «Послании к римлянам» (Рим 15, 19), *все* наполнить Евангелием Христа, стал осиявший Павла в светлый полдень близ Дамаска великий свет с неба, в тысячу раз ярче Солнца (Деян 22, 6; 26, 13). В грековорящем мире того времени то и дело случались подобные экстатические опыты встречи с высшим миром. Душа оказывалась изъятая трансцендентным, при этом осмысление пережитого в зависимости от той или иной духовной ситуации каждый раз происходило по-разному. Мы знаем об этом от Платона (около 400 г. до н. э.), от Филона, иудейского религиозного философа времен Христа, от среднего платоника Плутарха (около 100 г.), от Плотина, основателя неоплатонизма (III в.). Необходимо иметь дело с греческим языком греческого мышления, который касается метафизического, чтобы и в этом мышлении,

как однажды заметил Платон в диалоге «Федр» (250 d), бытие *засияло*. Как для палестинских первых апостолов явления Воскресшего *на земле*, так и для эллинистического иудея Павла мгновенная изытость в *неземной* свет связаны с принятием своего призвания. Но важно следующее: в отличие от языческих философов, которые в подъеме своей души касались ускользающей истины, будучи в конечном итоге не в силах ее поименовать, экстатический опыт иудея Павла вылился в откровенное, путеуказующее слово, снисшедшее на него свыше: он принял всей своей душой послание от Господа *Вышнего*, которое в апостольской деятельности Павла не переставало быть двигающим вперед импульсом.

И в этом пронизанном высшим знанием опыте, который позволил Павлу еще раз окинуть взором целое с более высокой точки зрения, коренятся два момента. *Во-первых*, убежденность, что Евангелие, с которым он до этого опыта боролся, должно быть возведено всюду невзирая на границы (сегодня мы скажем: в глобальном масштабе), во всем мире, раскрывшемся ему с точки пересечения трех миров, и возведено, поскольку речь шла о языческих народах, в форме проповеди, свободной от языческого закона: это Павел постиг со всей ясностью. *Во-вторых*, это, поскольку он «видел» *Господа Вышнего на небесах* (1 Кор 9, 1), есть внутренняя необходимость внести в проповедь то измерение мышления, которое с самого начала было доступно лишь в эллинизме и оставалось при этом вне поля зрения первых апостолов, — никакой развитой метафизики, но все же метафизические положения, которые нельзя не принимать во внимание и к разработке, как это зачастую происходит в современной, держащейся в стороне от метафизики теологии — учение о преждесущем Христе, который, несмотря на то что «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но унижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2, 6–9). На это (как и на Евангелие от Иоанна) смогли опереться греческие и несколько позже латинские Отцы Церкви в создании своих проектов христианской метафизики. Отсюда *систематическим образом* началась хорошо подготовленная «эллинизация христианства», которая в то же время — и это очень важно! — стала христианизацией эллинизма. Своими корнями эта христианизация уходит во второе поколение первых христианских миссионеров, если не принимать во внимание то, что уже задолго до этого перевод Ветхого Завета на греческий язык, Септуагинта, уже в достаточной степени свидетельствует об эллинизации *еврейства*, главным представителем которого в I в. можно назвать уже упоминавшегося Филона Александрийского, толкователя Библии и религиозного философа.

3. Развитие христианского миропонимания в период с 96 по 180 г.

8

Ульрих Вижерт

Главным свидетельством этого развития является так называемое «Первое послание св. Климента Римского к коринфянам», которое передала «Церковь Божия, живущая на чужбине в Риме, Церкви Божией, живущей на чужбине в Коринфе» с курьером в 96 г. Резко проявившиеся в то время нестроения из-за смены поколений в коринфской общине, подтолкнувшие римскую общину к вмешательству, стали для автора поводом для того, чтобы сделать *in nuce*⁴ набросок христианского мира — Адольф фон Гарнак⁵ точно указал то великое значение, которое имело это событие для будущего.

Это научная картина мира того времени. Птолемею, который сформулировал геоцентрическую модель мира, во время составления послания Климента было примерно 12 лет. Но и по предшествующим астрономическим исследованиям было известно, что Земля находится в центре мироздания и что далеко за ее пределами вращаются сферы с планетами. Нас ведут по всем углам земли, мы осматриваем и сушу, и море, и животных, узнаем времена года, и ветры совершают свое служение, и неиссякающие источники непрестанно доставляют влагу, и смутно чувствуем, согласно представлениям того времени, преисподнюю глубоко под землей. Наше послание предоставляет нам и своего рода маленькую сенсацию, когда оно говорит о мирах, находящихся по ту сторону океана: Америка еще не была открыта, но умозрительная география греков предвидела, что если двигаться на запад по круглой поверхности Земли, то можно попасть в другие *κόσμοι*⁶, другие миры. Это целостность неба и земли для христианского автора Климента Римского не распадается благодаря миру и согласию: у досократиков это были государственно-правовые понятия, в эллинистическую эпоху они были расширены до космоса, а в философии стоиков они стали обозначать в первую очередь не поведение человека, а всеохватывающее действие присутствия всепроникающего божественного Логоса. В нашем послании этому соответствует заимствованное из учения стоиков понятие порядка, которое характеризует космическую структуру, основополагающим образом обеспечивающую мир. Стоическими прежде всего являются ощущение вездесущего божественного управления, *διοίκησις*⁷, с самого начала осмысленного пантеистически, и сознание божествен-

4 «в зародыше» (лат.).

5 Гарнак (Harnack) Адольф фон (1851–1930), лютеранский теолог либерального направления, церковный историк, автор фундаментальных трудов по истории раннехристианской литературы и истории догматов.

6 *κόσμοι* — миры (греч.).

7 *διοίκησις* — управление, руководство, хозяйство (греч.).

ного провидения, *πρόνοια*⁸, которое проявляется в постоянном сохранении целого. Когда слышишь такие вещи, невольно можешь подумать о том, что миропонимание и мировое чувство, несмотря на некоторые аналогии, не имеют ничего общего с Библией и христианством. И все же — Климент Римский воспринял эту греческую философско-космологическую традицию и поместил ее в своем толковании в контекст Ветхого Завета.

Помысленный греками космос стал восприниматься через *веру* как творение Бога Израилева. Это выражается в том, что отныне причина воспринимаемого в космосе *порядка* (Ordnung) — это *распоряжение* (Anordnung) библейского Создателя и осуществляется этот порядок в послушном *подчинении* (Unterordnung) созданий. Это имеет своей предпосылкой, что космос, Вселенная мыслится как гигантское и само по себе сложное тело. Следовательно, в центре мира действует уже не божественный логос стоиков, а воля Ветхозаветного Создателя. Соответственно этому мир и согласие во Вселенной — ответ творения на распоряжающееся веление Божие. Одна причина, если можно так выразиться, заменяется на другую — вместо философского логоса воля живого Бога, и если это есть эллинизация библейской веры, то в то же время и в определенном смысле это гораздо большее воздействие библейской веры на эллинизм, пронизывающее и переформировывающее его. Во всех вещах действует могущественная сила, с помощью которой Создатель поддерживает устойчивость мироздания и в то же время удерживает в своих границах вечно бурлящее море хаоса, угрожающее устойчивости мира. Ветхозаветный мотив обуздания водного хаоса возникает здесь снова, но в несколько очеловеченной форме. Так как могущественная сила Создателя сразу же смирилась, она стала благодатным провидением: Бог не только не ограниченный Господин над миром, его *δεσπότης*⁹, но и его Благодетель, *εὐεργετής*¹⁰. Это непреодолимая и вместе с тем добрая воля живого Бога, в которой незримо оказывается космос греков. Одна только эта мысль является для римской христианской общины миссионерским актом всемирно-исторического ранга!

Однако же тем самым мы не предполагаем, что синтез ветхозаветной веры в Создателя с философской космологией был осуществлен исключительно Климентом. Большею частью он опирался на готовые тексты, которые возникли в эллинистической, а значит, грекоговорящей — синагоге столицы мира. Именно из этой синагоги, по достоверным источникам и выросла местная христианская община. Этот процесс показателен; это не означает ничего больше, чем то, что, как это ни парадоксально, эллинистическая синагога участвовала в подготовке духовной почвы для пропове-

8 *προνοία*, — предвидение, намерение, промысел, провидение (греч.).

9 *δεσπότης*, — господин, хозяин, повелитель (греч.).

10 *εὐεργετής*, — творящий добро, благодетель (греч.).

ди Церкви среди всех народов. Здесь и разгадка того, как смогло произойти, что ожидание первых христиан близкого конца света переросло в ранней Церкви в убеждение, что все создания пока что покоятся умиротворенными во все хранящей доброй воле Создателя; конец несомненно наступит, но не сейчас! В современной теологии были предприняты попытки понять переход от первохристианского ожидания близкого конца к общему церковному ожиданию конца времен, и нередко в адрес Церкви раздавался упрек в том, что она в своем приспособлении к официозу мира отреклась от изначальной веры. Однако историческое развитие не могло идти по некоей простой линии, исходящей из первого христианства. Не во всех городах, но в самых решающих из них, как с самого начала имевший немало путеуказаний христианский Рим, или же Александрия, эллинистический иудаизм является в этом развитии соучаствующим (*nebeneingekommen*). Он в своем синтезе библейской веры и эллинистического мышления разомкнул некое закрытое пространство, в котором было удержано слишком спешащее к концу первое христианство. Очевидно, божественное Провидение что-то еще уготовило истории человечества. Но так скоро, как прозревал это Павел в своем ожидании конца времени, это не должно было произойти.

Однако же Климент Римский не ограничивался тем, чтобы воспринимать традиции эллинистической синагоги; ведь тогда он был бы иудеем. В этот его синтез библейской веры в Творца и эллинистического миропонимания входит как нечто третье — Иисус Христос. Иисус Христос есть для него смиренный Раб Божий, который заботится об этом так мыслимом и так находящемся в вере синтезе Греции и Израиля. Здесь также можно вспомнить о том, что Павел писал в «Послании к римлянам». Его письма, написанные на папирусе, лежат под рукой в келье Климента; опираясь на них, этот римский христианин проповедует о преждедущем Христе, который смиренно принял на себя человеческий образ (Первое послание св. Климента Римского к коринфянам. 16, 2 и далее) и чья крестная жертва подарила всему миру благодать покаяния (7, 4). Прежде всего Иисус есть воскресший и вновь пришедший Господь. Климент Римский соприкасается с эллинистической мифологией, когда он учит: совершенные в любви после смерти попадают в «место праведных». Но это райское место не есть для христианского автора «конечная станция Желание» (*Endstation Sehnsucht*). Мифологическая благочестивая цель преобразуется для него в некое место ожидания: когда в событии пришествия нас настигает царство Христа, эти предназначенные для спасения души полностью возвращаются. В высшей степени поучительная фигура мысли: то, что в эллинистическом мире было осмыслено иудеями и язычниками, соотносится отныне с Христом. Вследствие этого оно в своем бытии преобразуется: прежде всего Движущийся сам по себе, покоя-

щийся сам в себе эллинистический космос соотносится со вновь пришедшим Христом и лишь благодаря этому достигает эсхатологического качества. Это происходит несмотря на то, что здесь уже нет речи о первохристианском ожидании близкого конца. Но от веры в новое пришествие Христа Церковь не отрекалась ни на одно мгновение. Только ожидаемое пришествие отныне соотносится с еще до поры до времени не отступающим миром, поэтому в отношении к первохристианству сместились акценты. Мы сегодняшние, с нашим ожиданием конца времен, поскольку мы еще его разделяем, стоим гораздо ближе к Клименту Римскому, чем к Павлу. В этом должен был бы сомневаться протестантизм, когда он полагает, что для него действительно «только Писание».

Ближайший важный свидетель этого развития христианского сознания — Игнатий, епископ Антиохийский из Сирии, который около 110 г. по грунтовой дороге был приведен отрядом римских легионеров в Рим и принял там мученическую смерть, растерзанный дикими зверями. На пути он смог написать — на греческом языке — послания нескольким христианским общинам, одно из которых было предназначено ефесянам. То, что он хотел сообщить о своем христианском миропонимании, он не смог, как Климент Римский, облечь в простые философские понятия. Он использует мифологические образы, чтобы передать в слове пришествие Христа в сердце мира как космическое событие. Звезда воссияла на небе ярче всех звезд, прежде бывших, и это был Христос, новая звезда, пова. И свет ее был неизреченный, а новость ее произвела во всех изумление. И поскольку она разрушила старый порядок мира, все прочие звезды вместе с солнцем и луною сошли со своих путей и составили как бы круг, *χορός*¹¹, хоровод вокруг новой звезды, и космос заново упорядочился. И так как Бог явился человеком, все старое ушло, а новое настало. Важно то, что Игнатий был на шаг впереди Климента Римского: уже не воля ветхозаветного Создателя, а Господь Христос, *κύριος*¹², стоит в центре; космос на пути христоцентрического становления.

Отсюда уже в так называемом «Послании к Диогнету» примерно в 180 г. делаются свои выводы. Это сочинение, обращенное к некоему «превосходнейшему» Диогнету, собственно не есть письмо, а миссионерское послание, учитывающее александрийский контекст; оно включает между тем также сформулированное учение о Логосе, о котором еще будет речь. Логос — это Посредник создания, согласно прологу Евангелия от Иоанна, таинственно священный Логос; в этом смысле Художник и Создатель всего, благодаря Которому Бог сотворил мир, Который, посланный Отцом благодаря человеческому образу, был помещен в самое сердце своего создания, Которым Отец сотворил небеса, Которым заключил мятеж-

11 *χορος* — хор, хоровод (*греч.*).

12 *κύριος* — повелитель, господин, хранитель (*греч.*).

ное море в своих пределах, Которого тайны верно сохраняют все небесные тела, от Которого солнце получило определенные меры своего круговорота, повелению Которого повинуются Луна и звезды, освещая ночью, Которым все устроено в порядок, распределено и Которому все покорено — небеса, земля и море, огонь и воздух, бездна, все, что в высоте и в глубине, и все, что как-то именуется, все, «что есть вот здесь». Вот кого — Сына Своего — Отец послал как человека к человекам. Здесь вновь встает перед глазами космос «Первого послания св. Климента», но здесь уже не воля ветхозаветного Создателя, который управляет этим космосом, а ставший человеком Христос-Логос, который охватывает этот космос как Посредник создания как бы извне и который как спаситель изнутри заново обосновывает его во благо.

Этому соответствует в «Послании к Диогнету» определенное Христом—Логосом бытие-в-мире, которое разворачивается согласно философской метафоре, но в смысле экзистенциальной диалектики Павла и Иоанна. В качестве своего рода мировой души выступают христиане: что в теле душа, то в мире христианине. Как душа, платонически мыслимая, хотя обитает и в теле, но нетелесна, так и христиане хотя и в мире, но не от мира. Незримо душа заключена в зримом теле: так и о христианах истинно то, что они есть в мире; но то, что, собственно, их составляет в их сущности, остается скрытым от глаз. Душа заключена в теле, но при этом она есть то, что не дает распасться телу; так и христиане живут в мире, как в некоей замкнутости, но и не дают этому миру распасться. Разработанный Климентом Римским христианский мир в трактовке автора «Послания к Диогнету» уже перестает быть космологически и предметно зримым. В своих основаниях он становится теперь антропологическим или, если можно так сказать, экзистенциально интерпретирующимся.

4. Поворот Логоса и историзация Логоса у св. Иустина Философа

Христос-Логос «Послания к Диогнету» был помещен в отношении с прологом Евангелия от Иоанна. Отсюда мог бы возникнуть вопрос: если все здесь целиком библейское, где тогда место для эллинизации христианства? Между тем положение дел обстояло по-другому и сложнее. В период времени между Игнатием Антиохийским и неизвестным автором письма к Диогнету жили и действовали ранние христианские апологеты — первоначально учителя философии большей частью весьма скромного уровня, до своего обращения ко Христу принадлежавшие к философской школе среднего платонизма. Эти достойные внимания мужи держали себя подобно обращенным ко Христу иудеям: они пришли со своими духовными традициями и заново осмыс-

лили их через Распятого и Воскресшего. Это имело силу и тогда, когда ради Евангелия часть из них решительно отказались от философии, но так быстро не справиться со старыми утвердившимися взглядами.

Отчетливее всего это заметно по Иустину — гениальному начинателю первых малых шагов смелого церковного богословия, который, как и Игнатий Антиохийский, мученически пострадал в Риме, за что получил почетное имя Философа и Мученика. Мартин Хайдеггер не раз высказывал тезис, что настоящий философ не должен иметь более *одной* мысли, а если он имеет более одной мысли, то он не философ¹³. Это условие выполняет Иустин, так как он имел только одну мысль, из которой он объяснял Бога и человека, небо и землю. Эта одна мысль была божественным Логосом. Но эту мысль Иустин черпал не непосредственно из пролога Иоанна, а уже принес ее из своего прошлого в среднем платонизме и вновь ее обрел в прологе Иоанна, который, со своей стороны, если я не ошибаюсь, в некотором смысле связан с Филоном Александрийским или мышлением, близким ему. Уже до христианства и вне христианства имели место трансценденция высшего Бога и посредническая функция из Бога рожденного Логоса, или же эманлирующего из мировой души, который следует отличать от логоса Стои, обозначающего божественное вообще. Заниматься историко-философскими деталями здесь не место; при скудости первоисточников среднего платонизма разобраться в них затруднительно, это требует кропотливой реконструкции. Когда, по собственному свидетельству Иустина, написанного в стиле Платона, благодаря евангельскому благовестию, в его душе зажегся огонь, то в нем произошла особенная перемена. Однажды, читая пролог Евангелия от Иоанна, он вдруг постиг, что «я подразумевал всегда, когда говорил о Логосе, это ведь есть Христос!»

Божественный Логос высоко наверху в прославленной выси, к которому он до сих пор в своем мышлении строил лестницы, чтобы с трудом только еще тянуться прямо к Нему, чтобы всего лишь коснуться протянутой рукой, а Он себя приклонил к человеку, Он пришел близко, вот Он стал чудесным образом человеком и стал теперь присутствующим здесь, внизу. Это была не просто мысль, это был потрясающий основополагающий опыт ранних христианских теологов вообще, которые большей частью об-

13 Ср.: «Каждый мыслитель продумывает только одну-единственную мысль. И это существенно отличает мышление от науки. Исследователю нужны все новые открытия и идеи, иначе наука впадает в закоснелость и ложь. Мыслителю же нужна лишь одна-единственная мысль. И трудность для мыслителя заключается в том, чтобы эту одну-единственную мысль удерживать, как единственно предназначенное мышлению...». *М. Heidegger. Was heißt Denken? Tübingen, 1971. S. 20.* Русский перевод: *Мартин Хайдеггер. Что зовется мышлением? М., 2006. С. 58 – 59.*

ращались из благочестивого язычества и постигали: Бог, к которому мы уже давно, полные пророческих предчувствий, тянулись вверх, но Он оставался далеко и Его Сущность была невыразима; Он вдруг посмотрел на нас человеческими глазами и сказал нам: «Вот Я!» (Ис 58, 9). Я обозначил это событие терминологически как *поворот Логоса*. Это означает: христианин из язычников, как Иустин, когда постиг пришествие Бога во Христе, ни в коем случае не оставил свое эллинистическое мышление позади себя, его мышление, не переставая быть эллинистическим, обратилось к Христу, до мельчайших подробностей многогранно преобразилось и, что особенно важно, получило целиком *новую направленность*. Ибо Логос теперь уже не нужно было *искать* в направлении снизу вверх (*человеческий ἀνάβασις*¹⁴), а Он снизошел сверху вниз Сам (*божественный κατάβασις*¹⁵): Его *поворот*. Речь идет, таким образом, не о резкой замене философии христианством, а о некоей новой, богатой изменениями направленности, связующей одно с другим, при которой выходит так, что дохристианский философский монотеизм, если угодно, как естественная теология, имел свое отношение к истине. Полностью истина раскрывается лишь в том случае, если далекий бог философии превращался для сознания веры в близкого Бога Библии. Если в связи с этим обратиться к текстам, то становится понятным сказанное Иустином, что вера во Христа, собственно, лишь и сделала его философом; ибо истинную философию можно найти только у пророков и апостолов. Однако же в этой самооценке Иустин заблуждался насчет себя самого. Потому что именно он был убежден, что философы переписали то, что есть, к примеру, в их учениях об истинном, у Моисея — так называемая теория плагиата; таким образом, он вновь обрел это эллинистическое мышление в своей греческой Библии, замыкая тем самым круг. Когда же Иустин сделал Христа-Логоса подлинным содержанием своего мышления, то стал учить из горизонта возникающей, благодаря и ему, христианской метафизики, в атмосфере которой осталось сохраненным нечто от античного миропонимания, хотя и измененного христианством, принадлежавшее его мышлению. Нужно ощутить изливающийся свет метафизически пронизанного христианского мира в соответствующих текстах Иустина, иначе его не понять. Ведь речь идет не об избранных им понятиях как таковых, а о трансцендентальном событии, к которому мы становимся сопричастны через эти понятия. В недрах Божьих был рожден Логос для творческой деятельности, так как Он есть Слово, через которое Бог проговорил действительное, и оно стало. И своей силой (*δύναμις*)¹⁶ Логос управляет Вселенной. Это

14 *анабазис* — восхождение (*греч.*).

15 *катабазис* — спуск, сошествие, нисхождение (*греч.*).

16 *дюнамис* — сила, могущество, возможность» (*греч.*).

метафизический аспект. А отсюда мы приходим к тому, что я называю *историзацией Логоса*. Из недр творения раскрылось событие обмена¹⁷ между божественным и человеческим; это приводит к истории Бога со своим народом, в которой (это в центре внимания и Иоанна Богослова) Христос стал присутствующим. И где бы в Ветхом Завете ни вмешивался в судьбы Ангел Господень, то, по Иустину, это был на самом деле Логос! Однако Логос был присутствующим и у язычников. Как Логос семенной (*σπερματικός*)¹⁸, как сеющий Логос он рассыпал частицы разума, благодаря которым человечество осуществляет предназначенное ему трансцендентальное отношение, благодаря которым философы, постигшие их, смогли достичь аспектов истины (явное противоречие с теорией плагиата). Ибо божественный Логос Сам есть в высшем смысле разум, и творческое участие в нем располагает все народы, в некоем предваряющем смысле, по ставшему человеком Логосу. В основании же всего этого — великое мышление! Кто бы и что бы ни говорил, замечает Иустин, нам, христианам, принадлежит (прежде всего он здесь подразумевал Сократа) образ христианина до Христа. И наконец, здесь сходятся два пути, по которым шли иудеи и язычники. Он Христос Божий, будучи Бог, от начала существовал как Сын Творца всего и родился человеком от Девы (Диал. 48, 2)¹⁹. Так Он объединил иудеев и язычников в обновленное человечество Церкви Божией.

Я резюмирую. В первохристианстве открытость для эллинистического мира; в ранней Церкви в отдельных, последовательных шагах развитие христианского миропонимания; наконец в небе и на земле всеохватное действие Христа-Логоса: так замыкается круг, и в конце II в. Целое налицо. К этому присоединяется то, что примерно в то же самое время с «Посланием к Диогнету» Ириной, «отец кафелической догматики», представил сочинение о священной истории. Разумеется, мы здесь лишь подошли к полю сражения или же как будто стоим на морском берегу и смотрим на большую воду. Что в обширных, борющихся друг с другом системах александрийского и антиохийского богословия, что на Вселенских соборах последующих столетий было интегрировано с эллинистическим мышлением? Возможно, мы найдем корабль, который вынесет нас к этим флотилиям, курсирующим в просторах Мирового океана!

17 По *Ефрему Сирину* «обмен» между Богом и человеком, происходящий в Боговоплощении: Бог воспринимает от нас человеческую природу, а нам дарует Свое божество, и человек приходит к обожению.

18 *σπερματικός*, «сперматический, образовательный», *λογοὶ σπερματικοί*... в философии стоиков порождающие начала.

19 *Св. Иустин Мученик*. Диалог с Трифоном иудеем // Сочинения Св. Иустина, Философа и Мученика. М.: Университетский типограф, 1892. С. 132 – 362.

Событие в философской и теологической перспективе

А Л О И З М . Х А А С

*Перевод по изданию:
Philotheos International Journal for Philosophy
and Theology. No. 4. 2004. P. 32 – 45.*

Сегодня явно ощутимо то, что понятие «событие» после длительного времени его обесценивания испытывает заметный ренессанс. На это есть много оснований. Содержательно играет большую роль, несомненно, тот факт, что этимология слова *событие* (Er-äugnis > Ereignis)¹ особенно плодотворна в употреблении его в контексте концепций теории познания и реальности, в особенности тех, которые ориентируются на возможность и вид человеческого способа восприятия, а именно в своем вопрошании: как и каким образом — во времени и пространстве — я воспринимаю? Но исходя из этого можно зафиксировать новую оценку события в самых различных областях науки². Несколько указаний на философию и теологию, на историю, литературоведение, теорию культуры, и прежде всего на господствующую эстетику могут послужить иллюстрацией для этой новой оценки.

- ¹ Этимология «eigen» > Er-eig-nis [собственный, свой — событие], целенаправленно привлекаемая Хайдеггером, не соответствует историческому положению вещей. Ср.: *Mersch*, прим. 59, с. 415, где ставится под вопрос осведомленность Хайдеггера о достоверных этимологиях.
- ² *Nikolaus Müller-Schöll* (ред.). Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung. Anspruch und Aporien. Bielefeld, 2003; *Thomas Rathman* (ред.). Ereignis. Konzeptionen eines Begriffs in Geschichte, Kunst und Literatur. Köln, Weimar. Wien, 2003; *Marc Rölli* (ред.). Ereignis auf Französisch. Von Bergson bis Deleuze. München, 2004.

Главной приметой новой значимости понятия события собственно в философии является то, что понятие «событие» может закладываться в основание проекта целой метафизики. Тому свидетельство — книга Уве Майкснера «Событие и субстанция. Метафизика реальности и реализации»³. Теория действия аналитической философии и историческая теория науки в традиции логического позитивизма интенсивно занимаются понятием события⁴, задаваясь вопросами, в какой мере человеческие действия могут быть событиями и насколько последние в своем роде специфичны для человека. Предпочтение же Хайдеггера, отдаваемое понятию события со времени его «*Beiträge zur Philosophie*» (1936–1938)⁵, мы рассмотрим несколько позже.

Однако не только философия вопрошает о виде и характере события. Историческая наука в последнее время⁶ вновь берет на щит это высокородное понятие события, когда она действия и события-происшествия (*Geschehnisse*) прошлого понимает как события в специфической зависимости и соотносительности, более того, в ясной сопряженности с историческими структурами, особенно после того как французская школа «Анналов» (Марк Блок, Люсьен Февр) попыталась событийную историю принизить в сравнении с концептуализацией собственно истории, которая считается не только с происходящими событиями лишь в смысле быстротечности как данностями, образующими историю, но и прежде всего с периодами времени *de longue durée* [времени большой длительности]⁷. Сегодня говорят прямо-таки о возвращении события в историческую науку⁸, после

- 3 *Uwe Meixner*. Ereignis und Substanz. Die Metaphysik von Realität und Realisation. Paderborn u. a., 1997. Вызывает недоумение то, что в этой книге нет ни слова о «*Beiträge zur Philosophie*» (*M. Heidegger*. Gesamtausg. III, 65.) Мартина Хайдеггера.
- 4 *Willard van Orman Quine*. Events and Reification. В: *Ernest Lepore* и *Brian McLaughlin* (ред.). *Essays on Actions and Events*. Oxford, 1985, 162–171; *Ralf Stoecker*. Was sind Ereignisse? Eine Studie zur analytischen Ontologie. Berlin — New York, 1992; Carco Iorio. Echte Gründe, echte Vernunft. Über Handlungen, ihre Erklärung und Begründung. Dresden, 1998. Ср. также *Ricoeur*, см. примечание 9, I, 166–180; *Kuno Lorenz*. Ereignis. В: *J. Mittelstrass* (ред.). *Enzyklopädie. Philosophie und Wissenschaftstheorie*. Том I. Stuttgart, 1995 [1980], 568.
- 5 *Martin Heidegger*. См. прим. 3.
- 6 Ср. *Jacques Revel*. Die Wiederkehr des Ereignisses — ein historiographischer Streifzug. В: *Andreas Suter* и *Manfred Hettling* (ред.). *Struktur und Ereignis*. Göttingen, 2001 (*Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft*. Sonderheft, 19), 158–174.
- 7 *Fernan Braudel*. La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris, 1949, 41979; *Ou же*. *Ecrits sur l'histoire*. Paris, 1969; ср. *Ricoeur*, см. прим. 9, I, с. 151 и далее.
- 8 *Revel*. См. прим. 6, 168.

того как эту событийную историю расценили пустой абстракцией и распрощались с ней на десятилетия. При этой новой переоценке становятся плодотворными важнейшие связи мыслительных ходов между исторической наукой, заново уже заинтересованной событиями и ориентированной на них, и размышлениями философов истории, таких как Райнхарт Козеллек, и философов, таких как Поль Рикер⁹, которые в унисон дают слово двойной историографии — описанию, *рассказывающему* исторические события (нарративному), и описанию, *описывающему* структуры (дескриптивному).

Однако по времени всем дискуссиям о методе в исторической науке предшествовали диалектическая теология и исследования мистики, которые испытывали живой интерес к категории события¹⁰. Очевидно, что диалектическая теология (Карл Барт, Эмиль Бруннер, Рудольф Бультман, Фридрих Гогартен, Эдуард Турнейзен и другие) с самого начала была не восприимчива к искушениям теологии, ориентированной на структуру и точки зрения, т. е. субстанциональной теологии, и хотела таковой оставаться, так как она как «теология кризиса» (П. Тиллих) после I мировой войны, согласно своим убеждениям, отдавала предпочтение противоположному — пророческой позиции во времена событий. Ключевым словом для этого стало греческое *καιρός*, «кайрос» (подходящий момент времени)¹¹, которое помещает отношение человека к Богу в границы динамичной связности, так что спонтанные отношения Человек — Бог становятся доступны осмыслению и опыту. Так, Пауль Тиллих в 1926 году пишет в редактируемом им издании «Кайрос. К духовному положению и духовному повороту»¹²:

Кайрос означает «осуществившееся время», конкретное историческое мгновение и в пророческом смысле «полноту времен», вторжение вечного во время. Таким образом, кайрос не есть чем бы там ни было наполненное мгновение, заменяющийся отрезок временной последовательности, а он есть время, поскольку в этом времени осуществляет-

- 9 Revel. Там же, с. 168 и далее. Ср.: *Paul Ricoeur. Zeit und Erzählung*: в 3 т. München, 1988 / 1989 / 1991. I, с. 142 и далее. (Описание исчезновения категории события в современной историографии). С. 181 и далее (Речь в защиту нарративного метода); *Reinhard Kosellek. Darstellung, Ereignis, Struktur* (1973). В: *Он же. Vergangene Zukunft*. Frankfurt, 1979. 144–157.
- 10 *Edmund Runggaldier. Ereignis*. LTK 3, Freiburg, 1995. С. 351 и далее (к сожалению, здесь отсутствуют указания на историю понятия в философском контексте!).
- 11 Div. Autoren. *Kairos*. LTK 5. Freiburg, 1996. 1129–1131 (исторически скудный).
- 12 *Kairos. Zur Geisteslage und Geisteswendung*. Darmstadt, 1926; вновь опубликовано в: Paul Tillich. *Gesammelte Werke. Band VI: Der Widerstreit von Raum und Zeit*. Stuttgart, 1963, 29–41. Ср. о понятии кайроса у Тиллиха: *James Luther Adams. Paul Tillich's Philosophie of Culture, Science and Religion*. New York, 1965. С. 255 и далее.

ся совершенным образом полнота значения, поскольку это время есть судьба. Рассматривать время как кайрос означает рассматривать время в смысле неизбежного решения, ответственности, от которой не уклониться, означает время в духе пророчества¹³.

Истолкование времени и мира в такой перспективе возможно, но, разумеется, не в смысле аналитически упорядоченного восприятия, а в духе потрясения, которое есть знак подлинного пророчества¹⁴. Для молодого теолога Тиллиха пророчество в исторической горизонтали имеет социально-критический пафос, оно направлено против «духа буржуазного общества»¹⁵; в вертикали пророчество означает «прорыв к сущности, к демоническому, которое пронизывает насквозь, к божественному, в которое верят. Это не реализм покоящейся самой по себе конечности, а это реализм, который открыт для Вечного. Это верующий реализм. И, возможно, это то последнее, что мы сегодня, в этот час можем сказать созерцая и взыскуя о кайросе, приходе вечности во время»¹⁶.

Кайрология Тиллиха имеет явную связь с его учением о спасении и милости, которое, имея основания в божественной вечности, глубоко встраивается во время. «Кайрос» есть понятие, ухватывающее «неповторимое мгновение прорыва совершенного откровения», но одновременно и «возвращающиеся мгновения созревания для нового переживания другого прорыва»¹⁷. Тем самым для него активная христианская жизнь непрестанно отмечена событиями возможных божественных прорывов во время мгновений милости и эпохально-исторических пророчеств, в которых проявляется драматическое событие отношений между человеком и Богом. Исторически это определение можно было бы проследить до самых его истоков в истории христианства, которое уже в самом начале выступило по закону осуществленного Богом «обращения» («Bekehrung») (секуляризованно воскресшего в хайдеггеровском повороте), затем развивалась дополнительная теология *conversio morum* новоначальных монахов и монахинь, наконец, в мистике была постулирована мгновенная и не-

13 Tillich, 1963, см. прим. 12, с. 31.

14 Эрих Пшибара в 1959 году в статье «Христианские первослова: кериigma, мистерия, кайрос, экономия», посвященной юбилею Пауля Тиллиха (*Erich Przywara. Analogia Entis. Metaphysik. Ur-Struktur und All-Rhythmus. Einsiedeln, 1962. Schriften III. С. 458–508*), с предельной ясностью разглядел в тиллиховском «кайросе» без-основность (*Abgründigkeit*) и полновесность (с. 504–506).

15 Tillich, 1963, см. прим. 12, с. 41.

16 Там же.

17 П. Тиллих цитируется по Йоргу Айкхоффу (*Jörg Eickhoff. Gestalten der Gnade — Paul Tillich's christusmystischer Engelsbegriff. В: Gert Himmel, Doris Lax (ред.) Mystisches Erbe in Tillich's philosophischer Theologie. Frankfurt a. M., 2000. Tillich-Studien 3. С. 351–364, здесь с. 364 (Dogmatik. Marburger Vorlesung. С. 294).*

посредственная доступность Бога, и в итоге вся эта традиция вверялась разным формам благоговейного благочестия, которые вносились в индивидуальном обращении человека в его жизнь как начало, объединяющее его христианское само-становление.

Исходя из этой выдающейся протестантско-динамической концепции диалектической теологии нетрудно установить связь с теологической эстетикой, как это сделал и методологически обосновал почти уже несправедливо забытый Герхард Небель в книге «Событие прекрасного»¹⁸. О понятии события он пишет:

«Событие» есть наш универсальный ключ, которым мы открываем все двери, пытаемся проникнуть во все пространства; событие было для нас мифическим явлением (Eiphanie), событие — это мгновенно возникающий рай, событие — это прекрасный мирный покой, в котором космический спор прекращается. Синонимы события, а именно действие, актуальность, действительность, экзистенция, сращение — формируют каркас современной протестантской теологии прежде всего Карла Барта, который, однако, стал для нас значим не потому, что применяет эти категории, а потому, что он умеет призвать к общему делу, умеет открыть свое сердце для нас. Мысли и язык Барта имеют такую силу, что открывают нам Христа как событие, и это гораздо больше, чем тезис, что Христос есть то или иное событие. Теология не должна оставаться наукой, а именно докладывать несобытийным образом о событии божественного слова, а должна стать возвещением; слово будет услышано другим только тогда, когда возвещающий слову внимает сам, когда оно, таким образом преобразая, проникает в нас. Тот, кто говорит о событии, или лучше: тот, кто позволяет стать событию языком, едва ли будет в состоянии воздержаться от полемики, которая находится в самой вещи. Событие есть отрицание серой повседневности — но из нее мы прорываемся к событию, к ней же мы возвращаемся, наше свидетельство должно быть критичным к ней. Более того, событийное мышление должно быть непримиримым по отношению к философу средней меры и рассудка — Аристотелю¹⁹.

Небель не упускает возможности дать важные указания на семантику и историю понятия события, ибо для него это понятие подготавливает нечто решающим образом связующее в опытном измерении, что связывает мифическое с подлинно христианским и защищает событие прекрасного как от эрудированного смакования, так и от презирающей все обывательщины²⁰.

18 *Gerhard Nebel*. Das Ereignis des Schönen. Stuttgart, 1953.

19 Там же. С. 219. Poleмическая нота по отношению к *Аристотелю* будет понятнее, если знать, что *Герхард Небель* подвергал *Аристотеля* жесткой критике уже в своей диссертации (*Gerhard Nebel*. Plotins Kategorien der intelligiblen Welt. Tübingen, 1929 / Heidelb. Abh. Z. Phil. U. ihrer Geschichte 18. С. 54.

20 См.: *Nebel*. Прим. 18, с. 223 и далее.

Для Небеля «Бог есть перво-событие человека»²¹. Эта формулировка допускает три характеристики события. Бог как перво-событие, *во-первых*, помещает в центр категорию внешнего: «Внешнее» с необходимостью принадлежит к событию, человек же «есть сущность внешнего не только теологически и метафизически, но уже и биологически»²². И следует добавить: так же и биогенетически.

Мы знаем многие и разнообразные события, но они могли произойти только потому, что человек был нацелен на Бога. «Внешнее» изначально полностью было занято Богом, чтобы, если вообще позволено — помыслить немислимое райское состояние — и лишь отпадение от Бога, грех, позволили подняться силам узурпаторов Внешнего²³.

Вообще говоря, для Небеля ориентированность человека на внешнее неотменимым образом задана обусловленностью через рождение и смерть: «смерть — это максимум события»²⁴, точно так же как вступление человека в существование вытекает совершенно загадочным образом из внешнего — аспект, который считается здесь религиозным экзистенциалом, который затем Петер Слотердайк представляет как антропологическую константу рожденности (*Gebürtlichkeit*). С этим критерием обусловленности события внешним связан важный вывод: «К внешнему принадлежит то, что человек им не располагает, в то время как оно располагает человеком; возможно, это лучшее определение, которое может быть. Событие неуправляемо, перед ним ни у кого нет никаких заслуг, оно есть счастье и милость. Там, где каждый день царят опьянение и наслаждение, последние теряют событийную силу, становятся частными внутренними событиями-происшествиями. Внешнее определяет по своему свободному усмотрению, против которого человек восстает, но никакой суетой или волевым решением божья милость не дается, и ни в каких подготовленных случаях красота не приходит»²⁵. Отсюда человек, согласно лютеранину Небелю, не нуждается в интроверсии, человек нуждается в открытости внешнему.

То, что он [человек] может предоставить внешнему, — это открытость, но и эта открытость не находится в его власти, это есть выбор внешнего. Лишь открытость наполняет сущность события, без открытости человека событие было бы лишь искушающим событием. С позиции события человек есть пустота и лишь то, что требует определения, человек изначально есть ничто и осуществляется лишь в событии²⁶.

21 Там же, с. 226.

22 Там же, с. 227.

23 Там же, с. 228.

24 Там же.

25 Там же, с. 229 и далее.

26 Там же, с. 230.

Во-вторых, событием как приходящим из внешнего невозможно манипулировать. Человеческая определяемость событием, для которой исключена всякая произвольная осуществимость событий или власть располагать событийными связями, с которыми все вновь и вновь пытается справиться наша постмодернистская культура как «общество переживания» (*Erlebnisgesellschaft*)²⁷, как правило, доставляет боль: «В событии нет ничего приятного, событие — это всегда расстройство и боль, зачастую гибель»²⁸. Если бы событие всего лишь доставляло удовольствие, оно было бы предсказуемым.

В рамках приведенной ниже христианской концепции времени событие, *в-третьих*, изначально «мгновение» (совершенно в смысле Тиллиха), но все же не в исключительном смысле, поскольку и мгновение нуждается во времени.

И если даже событие есть мгновение, то все же в некоторых случаях, несомненно, когда звучит Слово Божье или когда созерцается прекрасное, это мгновение должно восприниматься в течение некоторой временной длительности — и воде нужно время, чтобы успокоить круги волн, которые произвел брошенный камень. Таковым же образом, несмотря на то что событие Христа остается, может возникать континуум любви²⁹.

Тем не менее в мгновенном прорыве события содержится целительно-терапевтический момент, который имеет эффективные показания против скуки, страха и тревоги.

Во всяком случае событие в существовании человека содействует невероятному преображению³⁰. Это означает, что событие в любом случае касается личности. И тем самым вводится внутренняя сфера человека, но так что протестантская категория спасения *ab extra* (от внешнего) не снимается:

Событие есть лишь событие, стало быть, внешнее тем, что оно прорывается во внутреннее. Существование есть только существование, поскольку существующий человек был вырван из внутреннего и втянут во внешнее... Только когда событие есть союз (*Unio*), а стало быть, человек сплавлен в событии с космической, мифической силой, противоположности сходятся в великой предельной ситуации. Если у Христа, как кажется, иначе, а именно, в событии Слова Божья, в экстазе любви к Богу и ближнему, не происходит никакого союза, то здесь сохраняется даль эсхатологической вертикали, и раз-

27 Cp. G. Debord. *Die Gesellschaft des Spektakels*. Hamburg, 1978; K. Maase. *Grenzenloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur 1850–1970*. Frankfurt a. M., 1997; Christoph Türke. *Erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation*. München, 2002.

28 Там же, с. 231.

29 Там же, с. 231 и далее.

30 См. там же, с. 234–249.

вертывание внутреннего во внешнее (Ent-innerung) не становится тождеством³¹.

Событие для Небеля есть поэтому мгновение и больше чем мгновение. Особенно это *больше* движется к тому, чтобы присмотреться к ставшему сегодня знаменитым, благодаря Деррида, понятию «след»³². Событие оставляет после себя след; этот след есть «следствие события и по ту сторону от него, сохранение событийного и все же уже не событие»³³. Тем самым связываются воедино возвратное воспоминание, которое спасает от бессобытийной повседневности, и надежда, что придут новые события и окажут описанное целительное воздействие поворота из внутреннего во внешнее.

23

*Событие
в философской
и теологической
перспективе*

II

Бросается в глаза, что Небель в своем анализе с трудом мирится с внутренним миром события мистиков. Он защищает при этом предубеждение против мистического богопознания, предубеждение, все вновь возникающее в лютеранской ортодоксальности, которая на основании отдельных противоречий и предубеждений Лютера выступает против мистики Дионисия (но ни в коем случае не против мистики Страстей Господних). Согласно этим предубеждениям мистика — это лишь самоволие человеческого самообожествления³⁴. Но дихотомию перспективы внешней и внутренней сферы в человеке не только нельзя изобразить схематически так, как это делает Небель, но и следует в большей степени рассмотреть ее в симбиотическом качестве. Тот, кто решится на такое рассмотрение, должен будет незамедлительно признать, что мистики, исходя из иногда длящейся всю жизнь практики события, создавали и теории события, которые зачастую оказывались много тоньше, чем какое-либо выражение ортодоксального мнения. Таким образом, всякий мистик стоит всегда уже в некой связности, объединяющей системным образом внешнее и внут-

³¹ Там же, с. 235.

³² *Jacques Derrida*. *Husserls Weg in die Geschichte am Leitfaden der Geometrie*. München, 1987. С. 201 и далее. *Он же*. *Grammatologie*. Frankfurt a. M., 1974. С. 65 и 248 и далее. *Он же*. *Die Stimme und das Phänomen*. Frankfurt a. M., 1979. С. 145 и далее. *Он же*. *Telepathie*. Berlin, 1982. С. 23 (где сигнализируется негативный момент исчезновения и угасания в следе, который затем стремится ко всякого рода механизмам «перенесения» и «перевода»!); по Дитеру Мершу (*Dieter Mersch*. *Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis*. München, 2002. С. 35). См. прим. 52 (с. 361), прим. 20.

³³ Там же, с. 238.

³⁴ Ср.: *Alois M. Haas*. *Luther und die Mystik*. B: Gott Leiden Gott Lieben. Zur volkssprachlichen Mystik im Mittelalter. Frankfurt a. M., 1989. С. 264–294, 452–480.

реннее. Переход от «Я сам по себе», и тем самым неисторичного благословенного мгновения к его запечатлению в биографическом мире истории, где, собственно, лишь и становится очевидным историческое и религиозное значение его переживания, неизбежен; если бы он каким-либо образом не осуществлялся, то и на личности мистика, и на обществе, в котором он живет, сказывался бы дефицит общительности. Однако «то, что уже не может быть помыслено, должно происходить (sich ereignen)»³⁵, — уверяет сегодня философ, ориентированный на философию мгновения Эрнста Маха. Ибо событию свойственна интенсивность возможного опосредования между мистической имманенцией и конкретным внешним миром. Оно позволяет соединить невысказываемое с тем, что в этом невысказываемом должно быть высказано, не в смысле какой-либо ему присущей интенциональности, а в смысле свойственного ему суггестивного воздействия его событийности. Исключительно «чистое ощущение»³⁶ остается «пассивно пережитым: это происшествие (Widerfahrnis), но не поступок; событие, но не решение; обращенность, но не само-обращение»³⁷ — таково, что позволяет проживать всю жизнь исходя из этого мгновения, стимулировать ее и не давать ей останавливаться³⁸.

Если в секулярно-светской сфере возможно переживать «космическое сознание»³⁹ и чистое ощущение полноты космического чувства единства — раньше это называли естественной формой мистического опыта, это *mutatis mutandis* [с соответствующими изменениями] имеет силу и для религиозных версий христианской мистики (или другой формы мистического мышления одной из авраамически-теистических религий), в которой возможно

- 35 *Manfred Sommer*. Evidenz im Augenblick. Eine Phänomenologie der reinen Empfindung. Frankfurt a. M., 1987. С. 10.
- 36 *Ernst Mach*. Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung. Leipzig 21906. С. 21, 110 и 460. *Он же*. Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Psychischen zum Psychischen. Mit einem Vorwort zum Neudruck von Gereon Wolters. Jena, 1922, Neudruck: Darmstadt, 1991. С. 24 и далее, см. в прим. 1 о переживании, жизненно важном для *Эрнста Маха* и его научных исследований: «В один из ясных летних дней под открытым небом мир вместе с моим „Я“ показался мне вдруг *одной* связанной массой ощущений, которая связывалась в моем „Я“ все сильнее и сильнее». Ср. теперь и *Ulrich Schmitz*. Das problematische Ich. Machs Egologie im Vergleich zu Husserl. Würzburg, 2004. С. 121 и далее.
- 37 Sommer, см. прим. 35, с. 210.
- 38 Ср. и *Manfred Sommer*. Denkökonomie und Empfindungstheorie bei Mach und Husserl — Zum Verhältnis von Positivismus und Phänomenologie. В: *Rudolf Haller, Friedrich Stadler*. Ernst Mach — Werk und Wirkung. Wien, 1988. С. 309–328.
- 39 *Maurice Bucke*. Die Erfahrung des kosmischen Bewußtseins. Eine Studie zur Evolution des menschlichen Geistes. Freiburg i. Br., 1975; *William James*. Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie über die menschliche Natur. Olten, 1979; см. также литературу в: *Alois M. Haas*. Mystik als Aussage. Erfahrungs-, Denk- und Redeformen christlicher Mystik. Frankfurt a. M., 1997. С. 469.

unio mystica [мистическое сочетание]⁴⁰ с божественным, мыслимым абсолютно лично. И в том и другом виде опыта доминируют структурные моменты деавтоматизации духовной жизни⁴¹, мгновенности, пассивности переживающей души, интенсивнейшего последействия этого переживания, которое, как парадоксальный опыт пустоты и полноты, глубоко проникает в духовное и физическое устройство переживающего. Переживающий подвергается этому ощущению в форме перехода за границы всех своих возможностей и также границы божественного объекта своего опыта, которому он может соответствовать лишь в самоотречении и готовности к жертвованию собою

Превыше Бога стань

Где я и где мой дух? Не в нашем брэнном теле.
Свой собственный предел в каком искать приделе?
Он там, где несть его. Так что мне предлежит?
Превыше Бога стать, уйти в надмирный скит.⁴²

Другими словам, мистический опыт есть опыт трансценденции и перехода границ в высшем смысле, этот опыт есть активное *событие* (*Ereignis*) прихода абсолюта в жизнь человека, благодаря чему он оглядевшись узревает свою малость, но в этом черпает силу именно в заданных ему условиях жить дальше с оптимизмом и надеждой.

III

Ясно, что сегодня чисто религиозный вариант этого опыта события меньше попадает в поле зрения общественного мнения, чем другой опыт, предопределенный структурно и содержательно этим религиозным опытом, а именно целостный опыт мира, человека и Вселенной в форме внезапно врывающегося события (*Er-äugnisses*), которое никоим образом не было наработано созерцательными техниками, а вдруг неожиданно появляется, может менять и заново структурировать жизненный проект.

Таким образом, понятие события в современном мышлении было наделено почти экзистенциальным статусом. Едва ли кто найдет ся из видных мыслителей, кто тем или иным образом не имел бы

⁴⁰ Ср.: *Alois M. Haas*. *Unio Mystica*. В: *Hist. Wb. d. Phil.*, Band 11. Basel, 2001. С. 176–179.

⁴¹ Ср.: *Arthur J. Deikman*. *Deautomatization and the Mystic Experince*. В: *Richard Woods* (ред.). *Understanding Mysticism*. New York, 1980. С. 240–260.

⁴² *Jochannes Angelus Silesius*, d. i. Jochannes Scheffler. *Cherubinischer Wandersmann oder Geistreiche Sinn- und Schlussreime*. Hg. Von Louise Gnädinger. Zürich, 1986. I 7. С. 31.

дела с этим понятием. И виною тому, несомненно, очаровывающая сила, которую и по сей день излучает на международной сцене мышления философия Мартина Хайдеггера, а изданный уже после его смерти труд «*Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis*»⁴³ заметно доминирует в современном мышлении. Для Хайдеггера событие (*Ereignis*) есть способ при-сваивания (*Übereignung*). Бытие и человек принадлежат к нему теснейшим образом; человек «с-бывается» («*vereignet*») в бытие. А путь мышления ведет нас

...туда, где наше мышление заходит в то простое, что мы в самом строгом смысле слова называем событием (*Ereignis*). Кажется, будто мы подверглись опасности слишком беззаботного движения нашего мышления к некому далекому всеобщему понятию, в то время как в том, что именуется словом *событие* (*Er-eignis*), с нами непосредственно говорит лишь ближайшее того близкого, в котором мы уже пребываем. Ибо что может быть нам ближе, чем приближающее нас к тому, к чему мы принадлежим, чему мы всегда послушны, событие? Событие есть та подвижная в себе область, в которой человек и бытие самим своим существом проникают друг друга, обретают свое существенное, теряя те определения, которыми ссудила их метафизика. Мыслить событие (*Ereignis*) как событие (*Er-eignis*) — значит работать над возделыванием этой подвижной области⁴⁵.

В этом тексте имеет место тезис: «Событие дает человеку и бытию сбывться в их сущностной совместности»⁴⁶. Этот язык имеет своей предпосылкой знаменитое обращение (*Umkehr*) или «поворот» («*Kehre*») Хайдеггера на середине его пути⁴⁷, вследствие которого обращение в явной аналогии к религиозному *conversion* (обращение)⁴⁸ развертывает динамику нового революционного толкования вот-бытия (*Daseins*), которое дает экзистенции совершенно новый разворот. Это касается толкования как бытия, так и истины. Переворот целостного смысла бытия проявляется у Хайдеггера как поворот от заблуждения к истине. Таким образом, это лаконично сформулировано в «*Beiträge zur Philosophie*»: «Человек есть *путь*»⁴⁹. Событие (*Geschehen*), в котором этот «*путь* от...» осуществляется, есть «место мгновения для обоснования истины бытия (*Seyns*)»⁵⁰. За этим стоит — снова совер-

43 Ср. прим. 3. Ср. Также Friedrich-Wilhelm von Herrmann. *Wege ins Ereignis. Zu Heideggers «Beiträge zur Philosophie»*. Frankfurt a. M., 1994.

44 *Martin Heidegger*. *Identität und Differenz*. Pfullingen, 1957. С. 28.

45 Там же. С. 29 и далее.

46 Там же. С. 31.

47 См.: *Peter Sloterdijk*. *Absturz und Kehre. Rede über Heideggers Denken in Bewegung*. В: *Он же*. *Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger*. Frankfurt a. M., 2001. С. 12–81, в особенности с. 60 и далее.

48 См.: *Karl F. Morrison*. *Understanding Conversion*. Charlottesville and London, 1990.

49 *Heidegger*, см. прим. 3, с. 323.

50 Там же.

шенно в религиозном ключе — великое аскетическое молчание, определенный способ упражнения в молчании, в котором человек подготавливается к этой внутренней революции.

Место мгновения (Augenblicksstätte) возникает из одиночества великой тишины, в которой присвоение (Ereignung) становится истиной... Пространство — время нужно развернуть в его сущности как место мгновения события. Однако это «мгновение» ни в коем случае не есть лишь крошечный остаток едва ли ухватываемого «времени»⁵¹.

То, что здесь сказано с возвышенным пафосом, свидетельствует об обращении, которое из области заблуждения, ложного пути прочь ведет к истине и действительности бытия. А именно таким образом, что событие (Geschehen), обозначенное как событие (Ereignis), выступает в качестве некоего цельного «сдвига человека»⁵², что тождественно «прыжку в бытийствование бытия (Wesung des Seyns)»⁵³. Отсюда вывод, звучащий следующим образом:

«Прыжок — это улавливание (Er-sprungung) готовности к принадлежности к событию (Ereignis), наступления и отсутствия бытия и бегства богов. События нельзя добиться силой через мышление, но зато в мышлении можно заранее подготовить открытость, которая как пространство — время (место мгновения) делает в вот-бытии доступным и устойчивым разверзание (Zerklüftung) бытия. Это только кажется, что событие совершается человеком, на самом деле человеческое бытие как историческое происходит благодаря присвоению (Ereignung), так или иначе требующему вот-бытия. Наступление бытия, которое суждено историческому человеку, дает ему о себе знать никоим образом не непосредственно, а сокрыто в способах сокрытия истины. Но наступление бытия, столь редкое и бережливое само по себе, приходит всегда из *отсутствия (Ausbleib)* бытия, чья мощь и настойчивость не меньше, чем таковые у наступления. Бытие как бытийствование (Wesung) события есть поэтому не пустое, неопределенное море определяемого, в которое мы, уже «существуя», откуда-то прыгаем, а лишь прыжок позволяет возникнуть (entspringen) тому Вот как присвоенному (ereignet) принадлежащим в призыве (Zuruf), как место мгновения Где-либо и Когда-либо (Irgendwo und Wann)⁵⁴.

Как и в мистике, вопрос ставится о человеческой возможности этого прыжка; доступен он для всех людей или только для избранных? Для Хайдеггера ограничения для сферы значимости мышления как «самого настоящего и самого далекого (eigentlichste und weiteste) прыжка само собой разумеются: такое присвоение

51 Heidegger, см. прим. 3, с. 323.

52 Там же. С. 235.

53 Там же.

54 Там же. С. 235 и далее.

(Ereignung) возможно лишь для избранных. При этом важен переворот всего того, что было до этого.

Квинтэссенция „поворота“ в мышлении Хайдеггера заключается в опыте того, что мыслимое не есть результат деятельности субъективности, некоего обосновывающего или трансцендентально конституирующего мышления, а ему примышляется, или, точнее, ему при-говаривается (zusprach). В этом самопонимании Хайдеггера заключено то, что он понимал мышление как «востребованное» вещь, которая у идущего мыслящего ... как бы за спиной, но движущегося, тем не менее, именно к ней⁵⁵.

Бытие взяло на себя директиву в смысле посылы «судьбы» и располагает раскрытием и сокрытием себя самого; бытие и время встроены в событие (Ereignis). Поскольку теперь посыл судьбы (Geschick) бытия покоится в протяжении времени, а это последнее — в событии, то в событии (Ereignen) дает о себе знать то особенное, что оно отнимает у безудержного раскрытия свою собственнейшую суть... К событию как таковому принадлежит это отнятие (Enteignis)⁵⁶. Тем самым требование бытия к человеку не урезано. Совсем наоборот: «В бытии как присутствии заявляет о себе касательство, которое так задевает нас, людей, что во внимании к этому касательству и в принятии его мы нашли отличительность человеческого бытия»⁵⁷. И на этом главу, посвященную хайдеггеровскому пониманию события, следует завершить. В заключение только одно замечание: всякий кто размышляет вслед за Хайдеггером о событии как конститутивной величине человеческой жизни, будет подпадать под влияние хайдеггеровского пафоса. При этом в настоящее время зачастую остается скрытым вопрос, признается ли, и если признается, то в какой степени, за понятием «событие» («Ereignis»), имеющим коннотацию в значении «событие-происшествие» («Geschehnis»), некая инстанция (судьба, посыл судьбы и т. д.), стоящая над отдельной экзистенцией.

IV

Один из самых неординарных проектов теории события выдвинул в прошлом году Дитер Мерш в книге «Что показывает себя. Материальность, присутствие, событие»⁵⁸. Чтобы понять его

55 *Werner Marx*. Das Denken und seine Sache. Die Stationen von Heideggers Philosophie. Neue Züricher Zeitung. 16 / 17.4.1977. Nr. 88.

56 См.: *Martin Heidegger*. Zur Sache des Denkens. Tübingen, 1976. С. 23. (Цитата дается в переводе В. В. Бибихина.)

57 Там же.

58 *Dieter Mersch*. Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis. München, 2002.

подход, будем исходить из того, что он вместе с Небелем и Деррида называет следом, а именно то, что указывает на произошедшее событие. Говоря его словами, то, что как «отпечаток следа мимо-прошедшего хранит его бывшесть»⁵⁹. Поводом продумать знак стал для Мерша намек «причудливейшего создания», а именно кота Эдамера⁶⁰ из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», «чья насмешливая ухмылка оставалась в воздухе еще и тогда, когда остальная часть кота уже давно исчезла»⁶¹. Мерш алогическом процессе, в котором прошлое призрачным образом еще некоторое время сохраняет себя в материальном следе, распознает указание на двойной смысл знаков, «которые могут на что-то указывать или обозначать что-то что отсутствует, но при этом они все же сами нуждаются в своем присутствии (Präsenz), чтобы ре-презентировать отсутствие»⁶². Такое парадоксальное присутствие для отсутствия есть *след* (*Spur*), качество которого проявляется в любом случае в неуничтожаемой *материальности*. Но так как расшифровка знаков и их значения, т. е. того, что они хотя и сказать и показать, усматривается в их нематериальном значении, влечет «неожиданный эффект» вследствие того, что перед этим процессом толкования фактическая материальность знака имеет приоритет. Ранг и значение этой материальности и нематериальность расшифровывания знака, таким образом, противоположны:

Парадокс бестелесной ухмылки, выражения без материального основания демонстрирует, что всякая форма философского идеализма, пусть это идеализм идей или знаков и дискурсов, с необходимостью находит свое ограничение в том, что ее во-площает»⁶³.

В знаке прежде всего может появиться лишь не-знак, который как

как след неопределенного или даже нерасполагаемого в знаке, который присущ его значимости, его письму или структуре и который, тем не менее, на протяжении истории его рассмотрения стал сокрытым или пренебрегаемым тем, что это рассмотрение настаивало лишь на том, что есть, как полагают, *говорить, изображать или выразить*⁶⁴.

59 Там же. С. 11.

60 См.: *Lewis Carroll. Alice im Wunderland.* Frankfurt a. M., 1963. С. 68 и далее.: «... сказал кот и на этот раз действительно стал исчезать очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней — улыбка; она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало. «Вот это да!, — подумала Алиса. — Видала я котов без улыбки, но улыбки без кота?! Такого я в жизни еще не встречала!»

61 *Mersch.* См. прим. 59. С. 11.

62 Там же.

63 Там же. С. 12.

64 Там же. С. 13.

Прошлого чего-то неопределенного и не располагаемого в знаке остается, стало быть, и в том случае, если проговаривание знака становится его интеллектуально самым полным сигналом. «Событие его размещения»⁶⁵, благодаря которому знак достигает проявления, остается как материальность предпосылкой всякой возможности означивания. Вывод из этого положения вещей следующий: все связи и структуры знака зависят от того факта, что присутствие знака связано с его осуществлением в материальности. Наше глобальное предприятие толкования мира и наша попытка мир вокруг нас воспринять абстрактно как знак для другого, т. е. задействовать мир таким образом, чтобы мы всюду всегда уже расшифровывали бы посылаемые нам знаки, имеет свои непреодолимые границы в непосредственности материальности знаков, которая должна быть описана как «особенный „вес некоего Вот“»⁶⁶. Без материи не существует никакого означивания, никакого смысла. Тем самым материя оказывается нерасполагаемым, которое не может быть преодолено никакой ментальной операцией. Этот факт предельно значим прежде всего для искусства: то, что Мерш в знаках называет «экстатика материальности» и «интенсивность исполнения (Performanz)», составляет их ауру в воспринимаемости, или еще лучше — их характер дара. «Чтобы» («Dass») важнее, чем «что»⁶⁷ — даже если это признано смысл, выступающий вместе с характером событийных свойств и внезапности, может быть воспринят. Фундаментальное положение вещей и цель этих размышлений таковы:

Задачей наших размышлений является восстановление самой недоказуемости, а значит, асемиотического или несемиотического: событие (Geschehen), вместе с которым знаки или их структуры *получают проявление*, вместе с которым пространство и время достигают своей значимости, словом, *событие как источник* — не для того, чтобы его со своей стороны теоретически санкционировать, а для того, чтобы его вновь допустить в его неисчерпаемости. В особенности оно позволяет *на месте нерасполагаемого* заново открыть актуальность настоящего, которое таким же образом противопоставляется толкованию, которому оно с необходимостью предшествует: *событие «чтобы» (quod)*, которое имплицитно содержит неотрекаемость *эстетического*, как оно равным образом включает перемену отношения, перехода от интенциональности к ответственности. Иными словами, сопротивление наших исследовательских акций против конструкторизмов любого цвета, будь это таковые, подающие себя в качестве философий дигитальности или символического, медиальности, «письма» (Дерри-

65 Там же.

66 Там же. С. 17.

67 Там же. С. 18 и далее.

да) или «наблюдения» и «различения» (Luhmann): тотализация «середины» и опосредованного, которая уже не предоставляет никакого места для мистерии («чтобы»), которая в смысле Шеллинга как нечто требующее осмысления («Nichtnichtzudenkendes»), собственно, еще предшествует всякому мышлению и тем самым всякому смыслу или всякой символизации⁶⁸.

Может показаться, что кое-что из сказанного слишком сложно, когда он продумывает саму по себе простую целенаправленность высказывания: освобождение точки зрения, которая сама по себе не застраивает все, что есть, в направлении некоего тотального смысла или некоей тотальной медиальности. Речь идет у Мерша о мышлении-против (Dagegen-Andenken), против всех конструктивизмов, которые сами сегодня захватили понятие события⁶⁹, притягивая его прямо-таки ко всему, что происходит.

Если продумать, каким образом медиакультура, охватывающая нас, как узкое платье, забывает всякую спонтанность мыслимых событий, представляя нам все — прежде всего события («Events», «Happenis») — уже до того, как они произошли, то речь Мерша в защиту предшествующей и свободной от значения материальности с ее характером дара и милости понятна и продуктивна.

В своей следующей книге «Событие и аура»⁷⁰ Мерш проводит линии от события к ауре, в смысле Бенямина. Он устанавливает связи всякого опыта переживания прекрасного с присутствием, явлением, зачатием, экстазом. Нерасполагаемое в этом «эстетическом» опыте есть обоснованный ею в материальности характер дара. И «аура происходит»⁷¹. И это в некоем совершенно особом смысле, который структурно тождественен мистическому опыту.

При этом вступление в область ауры имеет своей предпосылкой подрыв субъект-объектного строя Нового времени, который господствовал над эстетикой Просвещения и романтизма. Не мы видим или слышим и записываем услышанное и увиденное, а наоборот, в первую очередь мы через данное (Ge-Gebene) созерцаемы и запрашиваемы. Изменение направления заключает в себе переход от action к passio (страсть, страдание). Он противопоставляет себя фантазмам суверенитета, включает переворот ориентации, некий «прыжок» от интен-

68 Там же. С. 20 и далее.

69 Ср.: *Daniel Sibony. Événements I–III*. Paris 1995 / 1999, где разрабатывается психопатология повседневности и настоящего. В известной степени это симптом диагностированной автором болезни.

70 *Dieter Mersch. Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performative*. F. a. M., 2002.

71 Там же. С. 143.

ционального к неинтенциональному. Рассматривать — означает в таком случае смотреть на смотрящее⁷².

В таком случае аура — это то, «что в произведениях искусства трансцендирует их чистое Вот-бытие (Dasein)»⁷³, их энигматический характер. Понятое как таинственная черта в произведении искусства, которая позволяет ему одновременно и сказать нечто, и сокрыть его, приближается к откровенному и мистериальному характеру хайдеггеровского бытия (Seyns). «Это основано на некоего рода двойном освещении: явленность неявленности и неявленность в том, что явлено»⁷⁴. Этот эстетический парадокс соответствует, с другой стороны, мистическому, который единение абсолютного с частным связывает с одновременностью видимости в невидимости и сказываемости в несказываемости. Тем самым давно известное структурное подобие между мистическим и эстетическим восприятием получает неожиданную конкретизацию в парадоксе, согласно которому таинственнейшее в unio mystica и unio aethetica связано с непреодолимой материальностью их эпифании (Epiphanie) — с «показом» («Zeige»), а не с «высказываемым» («Sage») — и о знаке являющегося можно спрашивать только отсюда. Но целое «есть событие. Такое событие находится не в структуре языка; „оно“ не «приклеивается» к его целостности; «оно» не есть форма, которая осуществляет показывание; «оно» вообще никакое не «оно», а исключительное осуществление (Vollzug): событие (Ereignen). Это означает: предоставляет само-показ. Точно так же с картинами, произведениями, объектами или также с инсталляциями и видами перформансов. Они выставляют себя как бы нагими. Все у них живо, видимо, слышимо, чувствуемо, без малейшей скрытности, но и без того, что может быть считываемо как таковое. Наоборот, они смотрят на нас, подходят (zugesehen) к нам, чтобы даровать⁷⁵.

Я ставлю здесь точку и хотел бы лишь заметить, что экзистенциально-материалистическая концепция события с характером дара идет навстречу самым различным постмодернистским философским концептам. Ален Бадью⁷⁶, Жан-Луи Кретьен⁷⁷, Жан-

72 Там же.

73 Theodor W. Adorno. Ästhetische Theorie. F. a. M. 1970, с. 146; цитируется по Мершу, см. прим. 71, с. 144.

74 Mersch. Там же. С. 145.

75 Там же. С. 145.

76 Alain Badiou. L'être et l'événement. Paris 1998; *Он же*. L'inoubliable et l'inespere. Paris, 1998. С. 55–59. (L'événement comme trans-être).

77 Jean-Louis Chrétien. L'arche de la parole. Paris, 1998; *Он же*. L'inoubliable et l'inespéré. Paris, 2000.

Франсуа Лиотар⁷⁸, Жан-Люк Марион⁷⁹, Клод Романо⁸⁰ или Мартин Зеель⁸¹ и многие другие осмыслили «событие» с характером дара, тем более в плане своей задачи перехода за границы хайдеггеровского слушания бытия. *Событие* сегодня в философии стало ключевым словом.

Критически рассмотренное Мершем положение дел, согласно которому всем значимым знакам присуща загадка их непреодолимой материальности и весь мир знаков претерпевает урон, когда их лишают их материальности и тем самым их событийности, можно с чистой совестью перенести в интересубъективный мир человека. Люди сталкиваются друг с другом и уже давно привыкли друг другу подчиняться, т. е. расшифровывать по знакам. Наш технологизированный и рационализированный мир позволяет это делать. Тем не менее другой человек (*Mitmensch*) в своей телесности и духовности в любом случае остается загадочным и по определению не разложим на функции, расшифровываемые в знаках. *Individuum est ineffabile* (индивидуум невыразим). Тезис как раз относительно материальности не снимаем. Являющийся человек в своей полной загадочности воспринимаем лишь в форме события. Лишь в таком случае его невыразимая аура имеет свое полное измерение, а именно измерение проявления внимания к неделимо не выразимому его явленности (*Er-scheinung*). Эстетическое распространяется, таким образом, и на антропологию, что, собственно, здесь и было представлено. Отсюда индивидуумы как события должны рассматриваться в их собственной незаменимости, т. е. как личности, формируемые своим жизненным путем, на экзистенции которых очевиден «след» пережитых событий.

- 78 *Jean-François Lyotard*. *Widerstreit*. München, 1989. Ср. Register, см. словарное слово «Ereignis». Ценный анализ мышления события у Лиотара можно найти в: *Wolfgang Iser*. *Unsere postmoderne Moderne*. Weinheim, 1988. С. 248–250. Вывод: Событие у Лиотара интерпретируется в русле иудейской традиции, содержит общее для французской философии предубеждение против антропоцентризма и «смерти субъекта». В то время как Хайдеггер отдает предпочтение бытию как управляющему событийностью, у Лиотара привилегирован язык, который берет человека в услужение, но действует и самостоятельно. При этом он критикует языковой инструментализм человека, который позволяет языку опуститься до голого средства обмена информацией.
- 79 *Jean-Luc Marion*. *Réduction et donation*. *Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie*. Paris, 1989; *Он же*. *Étant donné*. *Essai d'une phénoménologie de la donation*. Paris, 1998; *Он же*. *Du surcroi*. Paris, 2001. С. 36–63 (с весьма точным описанием события как «данности» («Gegebenheit»)).
- 80 *Claude Romano*. *L'événement et le temps*. Paris, 1999; *Он же*. *L'événement et le monde*. Paris, 1999.
- 81 *Martin Seel*. *Ästhetik des Erscheinens*. München, 2000.

Вклады в дело философии

От события

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

*Heidegger M. Beiträge zur Philosophie.
Vom Ereignis // Gesamtausgabe. Bd. 65. 521 S. §§ 20–49 (S. 55–103).
Перевод с немецкого Эльфира Сагетдинова
Продолжение. Начало см. в №1, 2009 г.*

20. Начало и начальное мышление¹

Начало это себя-обосновывающее забрасывание-вперед (das Sichgründende Vorausgreifende); оно обосновывает себя в найденном им же самим основании; это начало есть в своем забрасывании-вперед как обосновании и поэтому оно необходимо (unüberholbar). Поскольку всякое начало не-обходимо, оно постоянно должно повторно помещаться в размежевании (Auseinandersetzung) в уникальность его начальности, а значит, его неизбежного опережения. Это размежевание является исходным тогда, когда оно само начально, но обязательно в качестве *другого* начала.

Только уникальное повторимо (wieder-holbar). Только уникальное имеет в себе основание необходимости возвращения к себе и взятия на себя своей начальности. Повторение не подразумевает здесь дурную поверхностность и невозможность просто встречи того же самого во второй и в третий раз. Ибо начало никоим образом не может быть схвачено как то же самое, потому что оно забрасывает вперед и тем самым всегда любое начало или перебрасывает уже иначе и соответственно этому иначе определяет его повторение.

Начальное это никоим образом не новое, потому что новое это всего лишь переменившееся вчерашнее. Начало это также ни-

¹ о «начале» ср. лекции летнего семестра 1932 г. «Der Anfang der abendländischen Philosophie» (Gesamtausgabe. Т. 35); ректорскую речь 1933 г. «Die Selbstbehauptung der deutschen Universität» (Gesamtausgabe. Т. 16); фрайбургский доклад 1935 г. «Vom Ursprung des Kunstwerks».

коим образом не «вечное», потому что оно как раз не ставится над историей и не выводится за ее рамки.

Но что же такое начало мышления — в значении осмысления сущего как такового и истины бытия?

21. Начальное мышление² (набросок)

Продумывание (Erdenken) истины бытия это сущностно набросок (Ent-wurf). К существу такого наброска принадлежит то, что он в исполнении и развертывании должен сам себя возвращать в раскрытое благодаря ему. Таким образом может возникнуть видимость: там, где властвует набросок, есть произвол и блуждание в необоснованном. Но набросок приходит именно в основание и лишь таким образом преобразует себя в *необходимость*, к которой он в принципе относится, даже если еще сокрывается до своего исполнения.

Набросок существа бытия — это лишь ответ на призыв. Развернутым набросок теряет всякую видимость чего-то самовольного и все же никоим образом не становится самоуничтожением и капитуляцией. Его открытость наличествует лишь в образующем историю обосновании. Наброшенное в наброске овладевает им самим и корректирует его.

Набросок развертывает набрасывающего и в то же время захватывает его в свое раскрытое. Этот захват (Einfang), принадлежащий к сущностному наброску, есть начало (Anfang) обоснования достигнутой в наброске истины.

То, что и кто «есть» набрасывающий, становится схватываемым лишь из истины наброска, из которой оно становится также и сокрытым. Ибо самое сущностное есть то, что это раскрытие как просвет делает самоскрытие совершающимся (Geschehen), и лишь таким образом сокрытие истины получает основание и свой стимул (*ср.* Обоснование. 244 и 245. Истина и сокрытие).

22. Начальное мышление

Начальное мышление есть продумывание истины бытия и таким образом нахождение основания (Ergründung). Лишь опираясь на основание оно открывает свою обосновывающую, собирающую и удерживающую силу.

Но каким образом это продумывание бытия есть опора? Открывая более всего требующее-спрашивания (Frag-würdigste), оно выполняет требование и осуществляет тем самым предельное

² *ср.* Обоснование

прояснение того, в чем спрашивание находит опору, т. е. не *пре-
кращается*. Ибо в противном случае *ему*, спрашиванию, в своем
раскрывающем действии было бы не на что опереться.

Опора означает то, что спрашивание имеет доступ в самую
предельную область колебания, в принадлежность к самому пре-
дельному из совершающегося (Geschehen), которое есть *поворот
в событии (Kehre im Ereignis)* (ср. Последний бог. 255. Пово-
рот в событии). Доступ открывается в прыжке, который развер-
тывается как обоснование вот-бытия (Da-seins).

23. Начальное мышление.

Почему мышление из начала?

Почему более исходное повторение первого начала?

Почему осмысление его истории?

Почему размежевание с его концом?

Потому что другое начало (из истины бытия) стало
необходимым?

Почему все-таки вообще начало? (ср. *Überlegungen IV* о на-
чале и переходе).

Потому что лишь самое большое из совершающегося (Gesche-
hen), глубочайшее событие (Ereignis), может нас еще спасти
из потерянности в производстве голых данностей и махинаций.
Такое событие должно при-своить (ereignen) то, что нам рас-
крывает бытие и возвращает нас в него и таким образом возвра-
щает нас к себе самим и подвигает нас к произведению и жертве.

Теперь же величайшее событие есть всегда начало, и пусть
будет началом последнего Бога. Ибо начало — это *сокрытое*,
еще не испорченный и не взятый в производство источник, ко-
торый все время ускользая бежит как можно дальше вперед
(vorausgreift) и таким образом сохраняет в себе высшую власть.
Эта нерастратенная мощь укрытости богатейших возможностей
мужества (настроенно-знающей воли к событию) есть единствен-
ное спасение и победа над испытанием.

Начальное мышление как размежевание между достигаемым
в возвращении первым началом и развертывающимся другим
началом необходимо из этого основания; и в этой необходимос-
ти оно принуждает к самому широкому, острому и постоянно-
му осмыслению, препятствуя всякому бегству от решений и по-
исков выхода.

Начальное мышление имеет видимость полной отстраненно-
сти и бесполезности. И тем не менее, если уж говорить о пользе,
что может быть полезнее, чем спасение в бытии?

Итак, что же такое *начало*, что оно может быть высшим из все-
го сущего? Это бытийствование (Wesung) самого *бытия*. Но *это*
начало становится исполнимым лишь как *другое* начало в раз-

межевании с *первым*. Начало — понятие начально — это само бытие. А согласно ему и *мышление* более исходно, чем представление и суждение.

Начало — это *само бытие* как событие (Ereignis), сокрытая власть источника истины сущего как такового. И бытие как событие есть начало.

Начальное мышление это:

1. позволить бытию из умалчивающего сказывания понимающего слова возвыситься в сущее (строить на этой горной возвышенности);
2. развертывание этого строительства через подготовку другого начала;
3. зачинать другое начало как размежевание с первым в его более исходном повторении;
4. мышление, которое само по себе *сигметично*³, в наиболее отчетливом осмыслении существует именно в умолчании.

Другое начало должно быть достигнуто полностью из бытия как события и бытийствования его истины и ее истории (*ср.* например, другое начало и его отношение к немецкому идеализму).

Начальное мышление *перемещает* свое вопрошание об истине бытия *далеко назад* — в первое начало как источник философии. Тем самым оно добивается гарантии на то, чтобы приходить в своем другом начале *издалека* и находить в преодоленном наследии свое будущее высшее постоянство, возвращаясь тем самым к себе самому в измененной (в сравнении с первым началом) необходимости.

Отличительный признак начального мышления — это его *властная* сущность, лишь благодаря которой вынуждается и исполняется размежевание в высшем и простейшем. Начальное мышление — это властное знание. Великое будущее само по себе заранее определяет и решает, кто захочет пойти *далеко назад* — в первое начало.

Притязания философского мышления ни в коем случае не могут распространяться на безотлагательное, общее для всех после- и со-исполнение (Nach- und Mitvollzug). Философское мышление не терпит никакого использования. Так как оно мыслит самое уникальное в его странности — бытие, т. е. то, что обыкновенно является в расхожей понятности бытия самым общим и самым обычным, такое мышление неизбежно редко и странно. Но поскольку философское мышление само по себе бесполезно, оно непосредственно и заранее нуждается в тех и считается с теми, кто умеет пахать и охотиться, заниматься ремеслом и ез-

3 от греч. σιγή «молчание» (*примеч. пер.*)

дить, строить и устраивать. Оно само должно знать, что во все времена его считают неознаграждаемым трудом.

В области другого начала не существует ни «онтологии», ни вообще «метафизики». Никакой «онтологии», потому что ведущий вопрос уже не задает меру и сферу. Никакой «метафизики», потому что здесь вообще нельзя исходить из сущего как наличного или познанного предмета (идеализм), а нужно *перешагнуть* к другому (*ср.* Сопровождение). И сущее как наличное, и познанный предмет — все еще лишь переходные имена, для того чтобы вообще только начать прояснение.

Каковы же пути и способы изложения и передачи связности (Fuge) начального мышления? Первое сквозное формирование связности (Отклик — последний Бог) не может избежать опасности быть прочитанным, т. е. быть принятым к сведению, как обширная «система». Выдвижение отдельных вопросов (источник произведения искусства) должно отказаться от равномерного раскрытия и сквозного формирования всей области связностей (Fugenbereich).

Дополнять одно другим — это всегда лишь вынужденный путь. Но существуют ли другие пути в эпоху нужды? Какое счастье выпало здесь поэту! Знаки и видения могут быть для него глубочайшим, и зримый образ «стихотворения» может всегда вмещать в себе его сущностное.

А как же быть там, где понятие хочет измерить необходимость, а вопрос определить свое направление?

24. Ошибочные претензии к начальному мышлению

Подобного рода является требование, чтобы непосредственно было высказано, в чем заключается решение (без вынесения нужды); чтобы было доложено, что нужно делать, без принципиального обоснования исторического места для будущей истории; чтобы было устроено спасение без прорыва к далеко идущей воле, способной преобразовать постановку цели.

Ложная оценка в отношении к мышлению двоякого рода:

1. переоценка, когда непосредственные ответы ожидаются в качестве позиции, которая хочет сэкономить на спрашивании (решимости к осмыслению и вынесению нужды).
2. недооценка, когда оно сравнивается с обычным процессом представления и не признается его сила обоснования времени-пространства, его подготовительный характер.

Тот, кто хочет быть учителем, тем более в области начального мышления, должен овладеть сдержанностью умения отказываться от «действия» и никоим образом не должен позволять себя

обманывать кажущимся успехом в именовании чего-либо и его обсуждении.

Но самое тяжелое препятствие начальное мышление встречает в невысказываемом самопонимании сегодняшнего человека. Совершенно независимо от отдельных интерпретаций и постановок цели, человек воспринимается как наличный «экземпляр» рода «человеческое существо». Это переносится и на историчное бытие как существование внутри некоей установившейся взаимоотношенности. Там, где господствует эта интерпретация человеческого бытия (и тем самым бытия народа), отсутствует отправная точка и всякое притязание на бытие Бога, и даже на опыт бегства богов. Именно этот опыт является предпосылкой того, что историчное человеческое существо сдвигается в открытое средоточие сущего, которое покинуто истиной его бытия.

Ошибочность претензий возникает из непризнания сущности истины как просвечивающего сокрытия Вот, которое в настоятельности вопрошания должно быть вынесено (ausgestanden).

Однако любая собранность на более изначальной взаимоотношенности может быть подготовлена для основоопыта вот-бытия.

25. Историчность и бытие (Sein)

Историчность понимается здесь как *некая* истина, как просвечивающее сокрытие бытия как такового. *Начальное мышление* как историчное, т. е. в связывающемся (sich fùgende Verfùgen) распоряжении обосновывающее и историю.

Власть над ставшими свободными (т. е. беспочвенными и самолюбивыми) массами должна быть установлена и удержана оковами «организации». Может ли на этом пути таким образом «организованное» прорасти обратно в свои изначальные основания и не только локализовать, но и *преобразить* массовое?

Имеет ли эта возможность вообще еще какую-то перспективу перед лицом нарастающей «искусственности» жизни, искусственности, которая ту «свободу» масс, произвольную доступность всего для всех, облегчает и даже организует? Выступление против неудержимого искоренения, требование остановиться никто не должен недооценивать; это первое, что должно происходить. Но гарантирует ли это и, прежде всего, гарантируют ли именно средства, необходимые для такого действия, также превращение этого искоренения в укоренение?

Здесь требуется другая власть, сокрытая и сдержанная, давно обособленная и тихая. Здесь должны быть подготовлены наступающие, которые сами создают новые позиции (Standorte) в бы-

тии, на основании которых вновь при-сваивается (*sich ereignet*) постоянство в споре земли и мира.

Обе формы власти, в корне различные, должны быть затребованы и *одновременно* одобрены знающими. Здесь вместе с тем есть истина, в которой угадывается существо бытия: бытийствующее (*wesende*) в бытии разверзание (*Zerklüftung*) между высшей уникальностью и самым плоским обобщением.

26. Философия как знание

Если *знание как сохранение* истины истинного (существа истины в вот-бытии) отличает будущего человека (от существовавшего до сих пор разумного животного) и возвышает его до стражничества бытия, то высшее знание это то, что сверхдостаточно, чтобы быть источником *отказа*. Отказ считается нами, конечно, слабостью и уклонением, нерешительностью воли; понятый таким образом отказ — это уступка и отречение.

Но существует отказ, который не только удерживает, но и завоевывает и пре-терпевает (*er-leidet*), отказ, который возникает как готовность к непринятию, удержание этого странного, которое бытийствует (*west*) в таком роде как *само бытие*, то средоточие для сущего и божествования, которое вмещает открытое Между, в игре пространства-времени которого встречаются друг с другом сокрытие истины в сущее и бегство и прибытие богов. Знание о непринятии (вот-*бытие* как отказ) развертывается как длительная подготовка решения истины, будет ли истина еще раз владельницей истинного (т. е. правильного) или будет сама всего лишь равняться на это правильное, а значит на то, что ниже ее, останется ли истина не только целью технически-практического познания («ценностью» и «идеей»), но и обоснованием бунта непринятия.

Это знание развертывается как далеко вперед идущее *спрашивание* о бытии, более всего требующее-спрашивания которого принуждает всякое творчество к нужде и обеспечивает сущему мир и спасает надежное земли.

27. Начальное мышление (Понятие)

«Мышление» в обычном, уже издавна привычном определении это процесс пред-ставления чего-либо в его «*δέξα* как *χοιρόν*», пред-ставления чего-либо в общем.

Но это мышление с некоторых пор относится к на-личному (*Vor-handene*), уже присутствующему (определенное истолкование сущего). Но потому оно и является всегда *вторичным*,

добывая для уже истолкованного его всеобщее. Это мышление господствует различными способами в науке. Формулировка „всеобщее“ двусмысленна, уже обозначение мыслимого как *λογόν* не исходит из него самого, а рассматривается с позиции «многих», «сущего» (как *μή ὄν*). Исходная точка во *многих* и основоотношение к ней являются решающими, и прежде всего внутри позиции сознания таким образом, что оно является *тем, что напротив*, без того чтобы прежде быть собственно определенным и обоснованным в своей истине. Эта истина должна быть приобретена лишь через «всеобщее». Каким образом это понимание мышления затем соединяется с установлением и получением «категорий», и становится критерием для «формы мышления», названной *высказыванием*?

Это мышление когда-то — в первом начале — у Платона и Аристотеля было еще творческим. Но именно оно создало область, в которой впредь стало держаться представление сущего как такового, где затем разворачивалась все более скрыто оставленность бытием.

Начальное мышление — это исходное исполнение отклика, сопровождения, прыжка и обоснования в их единстве. Исполнение означает здесь, что они — отклик, сопровождение, прыжок, обоснование в своем единстве — предпринимаются и выносятся когда бы то ни было лишь человеком, что они сами всегда сущностно другое и принадлежат к событию (*Geschehnis*) вот-бытия.

Точность сказывания в этом мышлении и простота формулирующего слова соразмерны в понятийности, которая отклоняет всякое голое остроумие как пустую навязчивость. Понимается и схватывается в понятии то, что здесь единственно и всегда следует понимать, а именно, бытие всегда лишь в связывании тех связностей (*in der Fügung jener Fugen*). Властное знание этого мышления ни в коем случае нельзя высказать в одном тезисе. Но столь же мало то, что требуется знать, может оставаться предоставленным неопределенному смутному представлению.

Понятие здесь изначально есть некая «цельность» («*Inbegriff*»), которая прежде всего и всегда относится к сопровождающему совместному схватыванию поворота в событии (*Ereignis*).

Прежде всего принадлежащее цельности (*Inbegrifflichkeit*) может быть показано через отношение, которое любое бытийное понятие как *понятие*, т. е. в его истине, имеет к вот-бытию и тем самым к настойчивости историчного человека. Но поскольку вот-*бытие* обосновывается как принадлежность к призыву в повороте события, глубочайшее этой цельности (*Inbegriff*) состоит в схватывании самого поворота, в том знании, которое, вы-нося (*ausstehend*) нужду оставленности бытием, стоит внутри готовности к призыву; в том знании, которое говорит тем, что оно прежде всего молчит из вы-несенной настойчивости в вот-бытии.

Цельность здесь никоим образом не есть всестороннее схватывание (*Ein-begreifen*) в смысле охватывающего род понятия, а подразумевает под собой знание, пришедшее из настойчивости (*Inständigkeit*) и поднимающее глубину поворота в сокрытие, дающее просвет.

28. Неизмеримость начального мышления как конечного мышления

Это мышление и развернутый им порядок стоит вне вопроса, принадлежит ли ему какая-то система или нет. «Система» возможна лишь как следствие власти математического мышления в широком смысле (*ср.* Зимний семестр 1935/1936⁴). Поэтому мышление, которое стоит вне этой области и соответствующего определения истины как достоверности, сущностно без системы, бес-системно; но не произвольное и не путаное. Бес-системное означает то же самое, что и «путаное» и неупорядоченное, лишь в сравнении с системой.

Начальное мышление в другом начале имеет *строгость* другого рода: свободу связывания его связностей (*Fügung seiner Fugen*). Здесь связывается одно с другим из властности вопрошающей принадлежности к призыву.

Строгость сдержанности это строгость иная, чем «точность» отпущенного, каждому равно принадлежащего и безразличного «разумного рассуждения» («*Raisonierens*») с его для таких претензий на достоверность обязательными результатами. Эта обязательность обязательна лишь постольку, поскольку претензия на истину довольствуется правильностью выведения и подгонки к выправленному и исчислимому порядку. Эта достаточность — основание обязательности.

29. Начальное мышление⁵ (Вопрос о существе)

В области ведущего вопроса понимание существа определено из сущности (*Seiendheit*) (*οὐσία — κοινόν*); а сущность (*Wesentlichkeit*) существа находится в его самой большой, насколько это возможно, всеобщности. Это означает в противоположном направлении: отдельное и многообразное, то, что движется под понятием существа и откуда это понятие устанавливается — произвольно; ведь именно произвольность суще-

4 Лекции зимнего семестра 1935 / 1936 г. «Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundgesetzen» (Gesamtausgabe. T. 41).

5 *ср.* «Прыжок». Бытие сущности

го, которая тем не менее прямо указывает на принадлежность к существу, сущностна.

С другой стороны, там, где бытие схватывается как событие, существо определяется из исходности и единственности самого бытия. Существо — это не всеобщее, а бытийствование (*Wesung*) как раз той или иной единственности и ранга сущего.

Вопрос о существе сам по себе имеет характер решения, которое теперь в принципе управляет вопросом о бытии.

Набросок — это установление ранга и решение.

Принцип начального мышления звучит отсюда двойственно: всякое сущее есть бытийствование (*alles Wesen ist Wesung*).

Всякое бытийствование определяется из сущностного в смысле исходно-единственного.

30. Начальное мышление (как осмысление)

Начальное мышление как исполнение и подготовка отзвука и сопровождения есть поначалу переход (*Übergang*) и как таковой за-ход (*Unter-gang*).

В переходе исполняется осмысление, и осмысление есть необходимо само-осмысление. Но это не указывает на то, что это мышление относится все же к нам самим, и тем самым к человеку, и требует нового определения существа человека. Поскольку это существо начиная с Нового времени установлено как сознание и самосознание, переходное осмысление, по-видимому, должно стать новым прояснением самосознания. Тем более мы из сегодняшней позиции самосознания, которое есть больше, чем исчисление, просто не можем сдвинуться. Основоопыт начального мышления — это в итоге все же сущее в смысле сегодняшнего человека и его положения и тем самым «рефлексия» человека на «себя».

За этим соображением скрывается нечто правильное, но оно не истинно. Поскольку история и историчное осмысление несут в себе человека и владеют им, всякое осмысление есть *также* самоосмысление. Однако исполняемое в начальном мышлении осмысление не воспринимает бытие-самостью (*Selbstsein*) сегодняшнего человека как данное, как непосредственно достижимое в представлении «Я», Мы и их положения. Ибо именно *таким образом* самость (*Selbstheit*) не достигается, а окончательно утрачивается и заслоняется (*ср.* Обоснование. 197. Вот-бытие — собственность — самость).

Осмысление начального мышления, наоборот, настолько исходно, что оно впервые спрашивает, каким образом нужно обосновать *самость*, в области которой «мы», я и ты, когда бы то ни было приходим к *самим* себе. Поэтому сомнительно, найдем ли мы через рефлексию на «нас» нас *самих*, нашу *самость*,

и имеет ли соответственно набросок вот-бытия (Da-seinentwurf) вообще какое-то отношение к прояснению «само»-сознания.

Теперь еще вовсе не решено то, что «самость» на пути через Я-представление когда-либо определима. Более того, нужно узнать то, что самость лишь возникает из обоснования вот-бытия, но это обоснование исполняется как при-своение (Ereignung) принадлежности призыву. Таким образом возникает открытость и обоснование самости из истины и истины как истины бытия (ср. Обоснование. 197. Вот-бытие — собственность — самость). Самоосмысление предоставляет здесь не расчленение человеческого существа, по-другому направленное, и не показания других бытийных способов человека — все это взятое само по себе может быть улучшенной антропологией. Здесь вопрос об истине бытия готовит область самости, в которой лишь исторично действуя и поступая человек — мы — сформированный как народ, приходит к своей самости.

Свойство вот-бытия как обоснованного в бытии-самостью может быть *показано*, разумеется, прежде всего в переходе из дотеперешнего, Я-представляющего (ichhaften) самосознания и только из него; вот-бытие как *всегда мое*. При этом нужно обдумать то, что и это Я-представляющее самосознание благодаря Канту и немецкому идеализму уже достигло совершенно другой формы, в которой одновременно имеет место приписанность к «мы» и к Историчному и Абсолютному. С вот-бытием окончательно сразу же дано перемещение в открытое. Попытка найти здесь «субъективизм» (не говоря уже о другом) была бы во всяком случае поверхностной. Осмысление начального мышления направлено на нас (самих) и все же не нас. Не на нас, чтобы отделить от нас критерии определения, но на нас как историчное сущее, а именно в нужде оставленности бытием (прежде всего в падении понятности бытия и забвения бытия). На *нас*, установленных таким образом уже в выставленности в сущее — на нас этим способом, чтобы через нас найти бытие-самостью.

Переходный характер начального мышления приносит с собой неизбежно двусмысленность, что будто бы речь идет о некоем антропологически экзистенциальном осмыслении в привычном смысле. Но на самом деле любой шаг движим вопросом об истине бытия.

Взгляд на *нас* исполняется из *опережающего прыжка* (*Vorsprung*) в вот-бытие. Однако для *первого осмысления* было бы искушением в самых предельных способах бытия человека усмотреть вообще уже инородность вот-бытия (Dasein) по отношению ко всякому «переживанию» и «сознанию».

Тем не менее, соблазн ограничить все осмысление в «Бытии и времени» (первой половине) кругом лишь по-другому направленной антропологии весьма велик.

31. Стиль начального мышления

Стиль: самодостоверность вот-бытия в его обосновывающем *законодательном характере* и в его постоянстве ярости (Grimm).

Стиль *сдержанности*, поскольку она в своем основании настраивает настойчивость, это напоминающее ожидание события.

Эта сдержанность настраивает также все осуществление спора между миром и землей.

Она подчиняет себя — умалчивая это — мягкому критерию и вынашивает в себе яростный гнев; то и другое — принадлежа себе как из земли, так и из мира, по-разному встречаются друг с другом.

Стиль как развитая достоверность есть закон исполнения истины в смысле сокрытия в сущее. Поскольку искусство, например, есть полагание-в-произведение (*ins-Werk-setzen*) истины, и в произведении сокрытие *само по себе* приводится к самому себе, постольку «стиль», хоть и едва ли схваченный в понятии, особенно в поле искусства, является зримым. Однако здесь мысль о стиле *не* переносится расширительно с позиции искусства на вот-бытие как таковое.

45

*Вклады в дело философии.
От события*

32. Событие

Решающее просматривание после исполнения отклика и сопровождения

Нужно заранее усмотреть отношение бытия и истины и проследить, каким образом обосновываются отсюда *время* и *пространство* в их исходной принадлежности при всей их чуждости.

Истина это сокрытие, дающее просвет, которое происходит как отталкивание и привлечение. Они как в своем единстве, так и в избытке дают переставленное открытое для игры сущего, которое в сокрытии своей истины становится существующим как вещь, средство (*Zeug*), махинация, произведение, дело, жертва.

Но отталкивание и привлечение могут себя упрочить также в *безразличии*, и в таком случае открытое удерживается для общего наличного, создавая видимость, что это есть сущее, поскольку оно действительное. Из этого даже сокрытого безразличия кажущегося отсутствия отталкивания и привлечения последние (отталкивание и привлечение) кажутся исключениями, особенно там, где они показывают все же основание и существо истины. Это без-различие (*Gleich-gültigkeit*) есть лишь область, в которой разыгрывается всякий процесс представления, мнение, всякая правильность (*ср.* Обоснование: о *пространстве*).

Но то существо истины, отталкивающе-привлекающий просвет и сокрытие как источник Вот, бытийствует (*west*) в своем

основании, которое мы опознаем как при-своение (Er-eignung). Приближение и бегство, прибытие и отодвигание или простое отсутствие богов; для нас в господствующем бытии, т. е. в начале, и в бытии власти над этим событием (Geschehen), чья идущая от начала окончательная власть будет показывать себя как последний Бог. В своей подаче знака (Winken) само бытие, событие (Ereignis) как таковое становится впервые зримым, и это свечение нуждается в обосновании существа истины (как просвета и сокрытия) и в ее *последнем сокрытии* в измененных формах сущего.

То, что мыслилось по-другому и до сих пор о времени и пространстве, которые возвращаются к этому истоку истины, как это впервые представил в разработанном виде в своей «Физике» Аристотель, есть следствие уже установленного существа сущего как *ὄψις* и истины как правильности, и всего того, что отсюда сформировалось как «категории». Если Кант время и пространство обозначает как «созерцания», то это всего лишь предпринятая внутри этой истории слабая попытка спасти собственную сущность пространства и времени.

Однако у Канта не было пути к сущности пространства и времени. Направленность на «Я» и «сознание» и представление и без того уже отрезала всякий путь и всякую тропу.

Истина⁶

То, что об этом было сказано в связи с докладами о производстве искусства и было схвачено как «учреждение», есть уже *следствие сокрытия*, которое сохраняет собственно просветно-сокрытое. Это сохранение именно позволяет лишь сущему *быть*, а именно быть сущим, которое есть и может быть в истине еще не выделенного бытия и способа, каким развернута истина. (То, считается существующим присутствующим, действительным, к чему относится лишь необходимое и возможное, привычный пример из истории первого начала.)

Само *сокрытие* исполняется в вот-бытии и как вот-*бытие*. И это вот-бытие происходит, получает и теряет историю, в настольчивой, заранее принадлежащей событию, но едва ли знающей о-забоченности. Эта озабоченность, схваченная не из повседневности, а из самости вот-бытия, держится в многообразных нуждающихся друг в друге способах: изготовлении орудий, устройении махинаций (техника), создании произведений искусства, созидании государства, мыслительной жертве. Во всем этом каждый раз по-разному осуществляется вперед и рядом идущее формирование познания и сущностного знания как обоснование

6 ср. Обоснование

истины. «Наука» лишь отдаленное ответвление взаимопроникающего производства средств и т. д.; нечто несамостоятельное и *никогда* не приводящееся во взаимосвязь с сущностным знанием продумывания бытия (философия).

Но сокрытие держится не только в способах произведения, но и равным образом исходно в способе принятия на себя встречи неживого и живого: камня, растения, животного, человека. Здесь происходит возвращение обратно

в закрывающуюся землю. Однако это событие вот-бытия никогда не есть для себя, а принадлежит разжиганию спора между землей и миром, настойчивости в событии.

Философия: находить и выявлять простые виды и тайные образы, и в этом скрывается бытийствование бытия и вступает в сердца.

Кто смог бы *и то, и другое*: самый глубокий взгляд в самую сокрытую сущность бытия и самое ближайшее счастье видеть сияющий образ скрывающегося сущего.

Каким образом мы создаем бытию, забегая вперед в бытийствование бытия, напор его сущего, чтобы истина бытия хранила свою долговечную силу как толчок?

Мышлению остается лишь самое простое сказывание самого скромного образа в чистейшем умолчании. Первый будущий мыслитель должен смочь это.

33. Вопрос о бытии

Пока мы не признаем то, что всякое исчисление «целей» и «ценностей» возникает из совершенно определенного истолкования сущего (как *ἰδέα*), пока мы не поймем, что при этом уже не угадывается *вопрос* о бытии, не говоря уже о его поставленности, пока мы в полной мере не докажем через исполнение то, что мы знаем о необходимости этого непоставленного вопроса и тем самым уже задаем его, пока все это остается *вне* горизонта того, что ведет себя еще как „философия“, до тех пор всякий громкий шум о «бытии», «онтологии», «трансценденции» и «паратрансценденции», «метафизике» и якобы преодолении христианства беспочвенен и пуст. Не замечая этого, *все же* идут по колее охотно третируемого неокантианства. Ибо нигде не проделана работа мысли, не сделано никаких шагов раскрывающего спрашивания.

Как раз тот, кто пытался понять вопрос о бытии и когда-то по его пути пройти, уже *ничего* не может ожидать от «античности» и ее последователей, разве что продуктивного призыва вновь поместить спрашивание на то же основание необходимости, не той первой, ставшей окончательной и только *таким образом* бытийствующей (*wesenden*). Напротив, «повторение»

здесь означает *позволить тому же самому*, единственности бытия, стать нуждой *вновь и таким образом из более исходной истины*. «Вновь» означает здесь непосредственно: совершенно иначе. Но для этого продуктивного призыва отсутствуют еще слух и воля к жертве, воля к тому, чтобы остаться на едва открытом ближайшем отрезке пути.

Вместо этого обманывают сами себя и других *шумным энтузиазмом* вокруг пере-несенной благодаря Ницше «античности», не обращая внимания на собственную беспомощность.

Насколько же далеко отстоит от такого занятия, к примеру, образ и труд Германа Лотце, самого подлинного свидетеля легко и много поносимого XIX века?

34. Событие и вопрос о бытии

Событие это само по себе обнаруживающееся и передающееся средоточие (*ermittelnde und vermittelnde Mitte*), в которое заранее через мышление должно вернуться все бытийствование истины бытия. Это заранее туда возвращающееся мышление есть продумывание бытия. И все понятия бытия должны говорить оттуда.

И наоборот: все, что помыслено прежде всего и в нужде, лишь в переходе от развернутого ведущего вопроса к основному вопросу о бытии и расспрошено как путь к его истине (развертывание вот-бытия), все это никоим образом не может быть перенесено на беспочвенную пустыню дотеперешней «онтологии» и «учения о категориях».

Невысказанное угадывание события представляется поверхностным и одновременно в историческом изложении (*οὐσία = παροῦσία*) как «темпоральность»: событие сохраняющего-в-бывшем и заранее-принимającego-в-будущем (*Künftigend — vorausnehmenden*) отодвигания, а значит, раскрытия и обоснования Вот и таким образом существа истины.

«Темпоральность» никоим образом не подразумевает усовершенствования понятия времени, некой ходовой замены научного понятия времени «временем переживания» (Бергсон, Дильтей). Все таковое остается вне обнаруженной необходимости перехода от ведущего вопроса, понятого таким образом, к основному вопросу.

«Время» в «Бытии и времени» это *указание (Anweisung)* и *отклик (Anklang)* на то, что происходит как истина бытийствования бытия в единственности при-своения (*Er-eignung*).

Только здесь, в этом исходном истолковании времени, встречается область, где время с пространством достигают предельного различия и таким образом чуткости к бытийствованию. Это отношение подготовлено в изображении пространственно-

сти вот-бытия, конечно, не «субъекта» и «Я» (ср. Обоснование. Пространство).

При запутанности и недисциплинированности сегодняшнего «мышления» необходимо почти школьная формулировка его пути в форме обозначенных «вопросов». Разумеется, ни в коем случае решающая воля мышления и стиль не заключаются в более *поучительном* осмыслении этих вопросов. Но в целях прояснения, прежде всего по отношению к разговорам об «онтологии» и «бытии» нужно знать заранее следующее:

Сущее есть. (Das Seiende ist)

Бытие бытийствует. (Das Seyn west).

«Сущее» — это слово именуется *не* только действительное и это тем более не только как наличное, а также не только как предмет познания, не только действительное всякого рода, но и равным образом возможное, необходимое, случайное, все, что каким-либо способом пребывает в бытии, даже ничтожное и ничто. Тот же, кто здесь, считая себя достаточно находчивым, сразу же обнаруживает «противоречие», ибо ведь не может же несуществующее (Nichtseiende) быть «сущим», «существующим», оставаясь в своей непротиворечивости как критерии существа сущего, не может этого помыслить.

«Бытие» («Seyn») подразумевает не только действительность действительного, не только возможность возможного, вообще не только бытие (Sein), исходя из того или иного сущего, но и бытие (Seyn), исходя из изначального бытийствования в полном разверзании, где бытийствование не ограничено «присутствием».

Разумеется, бытийствование самого бытия и вместе с тем бытие в его самой единственной единственности нельзя произвольно и непосредственно познавать, как сущее, а оно открывается лишь в мгновении прыжка-вперед (in der Augenblicklichkeit des Vor-sprungs) в событие (ср. Последний бог. 255. Поворот в событии).

И нет никакого непосредственного пути от бытия (Sein) сущего в бытие (Seyn), потому что бытие сущего видно только за пределами мгновности вот-бытия.

Исходя из этого, в вопрос о бытии можно внести различие и прояснение. Это ни в коем случае не ответ на вопрос о бытии, а всего лишь подготовка спрашивания, пробуждение и прояснение *силы* спрашивания для этого вопроса, который когда бы то ни было возникает из нужды и подъема вот-бытия.

Если спрашивают о сущем как сущем ($\delta\nu \tilde{\eta} \delta\nu$) и вместе с тем, в *этом* исходном пункте и направлении, о бытии сущего, то спрашивающий стоит в области *того* вопроса, из которого вышло начало западной философии и история вплоть до ее конца в Ницше. Поэтому мы называем *этот* вопрос о бытии (сущего) ведущим вопросом. Его самую общую форму запечатлел Аристо-

тель в т... τὸ ὄν; что есть сущее, т. е. по Аристотелю — что есть οὐσία как сущность (Seiendheit) сущего? Бытие подразумевает здесь сущность. В этом выражается одновременно то, что несмотря на отрицание родового характера бытия (как сущность) понимается всегда и только как κοινόν, нечто общее (Gemeinsame) и значит общее (Gemeine) для всякого сущего.

Если, с другой стороны, спрашивают о бытии (Sein), то исходный пункт здесь не в сущем, т. е. всегда в том или ином сущем, и также не в сущем как таковом в целом, а спрашивание здесь исполняется как прыжок (Einsprung) в истину (просвет и сокрытие) самого бытия. Здесь одновременно опознается и расспрашивается это заранее бытийствующее (лежащее сокрытым и в ведущем вопросе), *открытость для бытийствования* (Weisung) как такового, т. е. истины. Вместе с тем здесь осуществлено предварительное спрашивание (Vor-frage) об истине. А поскольку бытие познается как основание сущего, то этот *таким образом* поставленный вопрос о бытийствовании бытия является *основным вопросом*. От ведущего вопроса к основному вопросу нет никакого равнозначного, непосредственного, применяющего ведущий вопрос еще раз (к бытию), непрерывного хода, а есть лишь только прыжок, т. е. необходимость *другого* начала. Но зато благодаря развертывающему преодолению постановки ведущего вопроса и его ответов как таковых может и должен быть создан *переход*, который подготавливает и вообще делает зримым и ощутимым другое начало. Этой подготовке перехода служит «Бытие и время», т. е. оно собственно стоит уже в основном вопросе, не развертывая его начально только лишь из себя.

Бытие сущего, определение сущности (т. е. задание «категорий» для οὐσία) — это уже *ответ* для ведущего вопроса. Различные области сущего в более поздней, послегреческой истории становятся актуальными по-разному, число и характер категорий, характер их «системы» меняются, но таковая «система» остается по сути в той же исходной точке, пусть даже эта точка непосредственно опирается на λόγος как высказывание или на сознание и абсолютный дух после соответствующих преобразований. *Ведущий вопрос* определяет, от греков до Ницше, один и тот же способ спрашивания о «бытии». Самым явным и великим примером этого единства традиции является «Логика» Гегеля.

Напротив, для основного вопроса бытие — это не ответ и не область ответа, но оно есть более всего требующее-спрашивания. Ему предназначается вперед-идущее и единственное требование, т. е. оно само раскрывается как *власть* и таким образом как никогда не подчиняемое выдвигается в открытое. Бытие как основание, в котором всякое сущее приходит лишь как таковое к своей истине (сокрытие, устройство и предметность); основание, в которое сущее падает (бездна, Abgrund),

основание, в котором оно также злоупотребляет своим *безразличием и самопонятностью* (беспочвенность, Ungrund). На то, что бытие через основание бытийствует в своем бытийствовании именно этим способом, указывает его единственность и власть. А эти единственность и власть со своей стороны есть вновь всего лишь знак (Wink) события, в котором мы должны искать бытийствование бытия в его высшей сокрытости. Бытие как более всего требующее-спрашивания само по себе не знает никакого вопроса.

Ведущий вопрос, развернутый в своей структуре, позволяет в определенный момент обнаружить *основную позицию* по отношению к сущему как таковому, т. е. позицию спрашивающего (человека) на том основании, которое как таковое не может быть найдено и вообще быть познано из ведущего вопроса. Однако благодаря *основному* вопросу это основание приводится в открытое.

Даже если непрерывный ход от ведущего вопроса к основному вопросу никоим образом невозможен, все же с другой стороны развертывание основного вопроса одновременно дает основание взять обратно целое истории ведущего вопроса в более изначальное владение и не, скажем, отталкивать его лишь как прошедшее (*ср.* Сопровождение. 92. Размежевание первого и другого начала).

35. Событие (Ereignis)

Руководящее осмысление:

1. Что есть *начальное* мышление.
2. Каким образом другое начало исполняется как *умолчание*.

«Событие» было бы правильным названием для «произведения», которое здесь может быть лишь подготовлено; а потому вместо этого должно стоять: *Вклады в дело философии (Beiträge zur Philosophie)*.

«Произведение»: развивающаяся структура в возвращении на возвышающееся основание.

36. Продумывание бытия и язык

Обычным языком, который сегодня все более всеохватывающе используется и забалтывается, высказать истину бытия нельзя. Может ли она вообще быть непосредственно высказана, когда всякий язык является языком сущего? Или для бытия может быть изобретен новый язык? Никоим образом. И даже если это получилось бы, причем совершенно без искусственного словоо-

бразования, этот язык не был бы языком сказывающим. Никакое сказывание не может возникнуть без одновременного возникновения возможности слышать. То и другое имеют тот же самый источник. Таким образом, действительно лишь одно — говорить самым благородным, развитым языком в его простоте и сущностной силе, языком сущего как языком бытия. Это преобразование языка проникает в области, которые для нас еще закрыты, потому что мы не знаем истину бытия. Таким образом говорится об «отказе следования», о «просвете сокрытия», о «событии» («Er-eignis»), о «вот-бытии», не вылушивание истин из слов, а раскрытие истины бытия в таком преобразенном сказывании (*ср.* Взгляд вперед. 38. Умолчание).

37. Бытие и его умолчание⁷ (Сигетика)

Основной вопрос: *каким образом бытийствует бытие?*

Умолчание это осмотрительная правомерность умалчивания (σιγησιμη) того или иного сущего. Умолчание это «логика» философии, поскольку эта философия из другого начала задает основной вопрос. Она ищет *истину бытийствования* бытия, и эта истина есть знак-подающая-в-отклике сокрытость (тайна) события (промедлительный отказ).

О самом бытии, именно тогда, когда бытие находится в прыжке, мы никоим образом не можем говорить непосредственно. Ибо всякое сказывание приходит из бытия и говорит из его истины. Всякое слово и вместе с тем всякая логика находятся под властью бытия. Сущность «логики» (*ср.* летний семестр 1934 г.⁸) есть поэтому сигетика. В ней лишь и понимается существо языка.

Но «сигетика» это именование лишь для тех, кто мыслит еще в «дисциплинах» и полагает, что имеет знание лишь в том случае, если сказанное упорядочено и классифицировано.

38. Умолчание

Чужеродное слово «сигетика» вводится для соответствия «логике» (онто-логия) лишь в переходе к ретроспективному взгляду и ни в коем случае не как одержимость заменой «логики». Если все же вопрос стоит о бытии и бытийствовании бытия, то спра-

⁷ *ср.* Лекции летнего семестра 1937 г. «Nietzsches metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken. Die ewige Wiederkehr des Gleichen» (Gesamtausgabe. Т. 44), заключение и все, что сказано о языке.

⁸ Лекции летнего семестра 1934 г. «Über die Logik als Frage nach der Sprache» (Gesamtausgabe. Т. 38).

шивание еще более исходно и поэтому еще меньше может быть заперто в рамках школьного предмета, где оно задыхается. Мы никоим образом не можем сказывать бытие (событие) непосредственно, и поэтому это невозможно и опосредованно в смысле восходящей «логики» диалектики. Любое сказывание говорит уже *из* истины бытия и никоим образом не может перепрыгнуть через себя непосредственно к самому бытию. Умолчание имеет более высокие законы, чем любая логика.

Однако умолчание это совсем не а-логика (A-logik), которая является даже в большей степени логикой или хотела бы быть таковой, но только не может. Между тем воля умолчания и знание умолчания направлены совершенно иначе. И столь же мало здесь идет речь об «иррациональном», «символах» и «шифрах», все это имеет своей предпосылкой дотеперешнюю метафизику. Пожалуй, напротив, умолчание включает в себя логику сущности (Seiendheit) так же, как основной вопрос преобразует в себе вопрос ведущий.

Умолчание возникает из бытийствующего (wesenden) источника самого языка.

Основоопыт это не высказывание, не тезис и, соответственно этому, не принцип, будь он «математический» или «диалектический». Основоопыт — это само-по-себе-удержание сдержанности по отношению к промедлительному самоотказу, в истине (просвет сокрытия) *нужды*, из которой возникает необходимость *решения* (ср. Взгляд вперед. 4б. Решение).

Когда эта сдержанность приходит к *слову*, то сказанное всегда событие. Но понимать это сказывание — означает исполнять набросок и прыжок знания в событие. Сказывание как умолчание обосновывает. Едва ли его слово лишь знак для совершенно другого. То, что оно именуется, предполагается. Но «полагание» присваивает лишь как *вот-бытие*, а значит, через мышление в спрашивании.

Умалчивание и спрашивание: сущностное спрашивание как осуществление решения сущности истины.

Поиск бытия? Исходная находка в исходном поиске.

Искать — уже держаться-в-истине, в открытом себя-сокрывающего и ускользающего. Поиск (исходным образом) как вопрошание и тем не менее умалчивание.

Кто ищет, тот уже нашел! А исходный поиск это то схватывание уже найденного, а именно себя-сокрывающего как такового.

В то время как обычный поиск сначала ищет, а как находит, прекращает искать.

Поэтому исходная находка в более исходном сокрытии скрыта именно в качестве поиска как такового. Исполнять требование более всего требующего-спрашивания, настаивать в спрашивании, настойчивость.

39. Событие

54

Мартин
Хайдеггер

Событие — сущностное название для опыта начального мышления. Но *публичное* название может звучать лишь так: *Вклады в дело философии*.

Набросок имеет целью то, что лишь в опыте начального мышления (которое знает о себе самом столь немногое) может быть затребовано (*gewollt*) — быть *связностью* этого мышления.

Это значит:

1. В строгости структуры в построении нет ничего унаследованного, как если бы нужно было (а это нужно в философии всегда) схватить невозможное — истину бытия в целиком развернутой полноте его обоснованного существа.
2. Здесь дозволено лишь распоряжение одним путем, который может прокладывать одиночка, при отказе от того, чтобы обозревать возможность других и, вероятно, более сущностных путей.
3. Опыт должен располагать ясностью о том, что и то, и другое — структура и распоряжение (*Verfügung*) — остаются одним *связыванием* (*Fügung*) самого бытия, подачи знака и лишения истины, невынуждаемым.

Связность (*Fuge*) в этом тройственном смысле должна быть испытана, чтобы более сущностное и более удачное, что является даром для настающих, нечто такое, от чего это более сущностное отталкивается в прыжке, который оно, идя вперед, присоединяет и включает (*an- und einfügt*), чтобы его преодолеть.

Эта преодоленность, если она подлинная и необходимая, приносит, разумеется, самое большее: она приводит опыт мышления — впервые исторично в его будущности — к стоянию, выставляемости в будущее и в неизбежность.

Связность (*Fuge*) это нечто сущностно иное, чем «система» (*ср.* зимний семестр 1935/1936 г. и 1936 г.⁹). «Системы» возможны и по направлению к концу, необходимы в области истории ответа на ведущий вопрос.

Шесть связностей связывания (*Fügungen der Fuge*) существуют когда бы то ни было сами для себя, но всего лишь для того, чтобы сущностное единство сделать настоятельнее. В каждой из шести связностей предпринимается попытка сказать всегда то же самое о том же самом, но при этом каждый раз исходя из другой сущностной области, что названо событием. При поверхностном и нецелостном взгляде здесь легко обна-

9 Лекции зимнего семестра 1935–1936 г. «Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendenten Grundgesetzen» (Gesamtausgabe. Т. 41) и лекции летнего семестра 1936 г. «Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit» (Gesamtausgabe. Т. 42).

руживаются всюду «повторения». Но исполнять в своей чистоте соразмерно связностям настаивание на том же самом, свидетельство подлинной настойчивости начального мышления — самое трудное. В сравнении с этим непрерывное поступление бесконечного ряда представляющихся каждый раз по-иному «материалов» переносится легко, потому что это получается само собой.

Каждая связность имеет место в каждом случае сама по себе, и тем не менее существует сокрытое колебание всех связностей друг с другом и раскрывающее обосновывание места решения для сущностного перехода в еще возможное преобразование западной истории.

Отклик (Anklang) имеет значение в своей дальности действия в бывшее и в будущее и вместе с тем имеет силу удара, потрясающего на-стоящее через сопровождение.

Сопровождение (Zuspiel) имеет свою необходимость лишь из отклика нужды оставленности бытием.

Отклик и сопровождение — это основа и поле для первого отталкивания начального мышления в прыжке в бытийствование бытия.

Прыжок раскрывает до этого времени непройденные дали и сокрытия того, куда должно проникать, принадлежа призыву события *обоснование вот-бытия*.

Все эти связности должны быть заключены в такое единство, исходя из настойчивости в вот-бытии, которой отличается бытие *настающих (Zukünftigen)*.

Они берут на себя и сохраняют разбуженную призывом принадлежность к событию и его поворот, приходя таким образом к пред-стоянию перед знаками *последнего Бога*.

Связность (Fuge) — это связывающее призыв и таким образом обосновывающее вот-бытие распоряжение (Verfügung).

40. Произведение мысли в эпоху перехода

Произведение в эпоху перехода (*ср. Überlegungen IV, 90*) может и должно быть лишь ходом в двусмысленности этого слова: ходьба и путь одновременно, таким образом, путь, который идет сам.

Возможно ли это оформить в сказывании таким образом, чтобы простота этой задачи вышла на свет? Соответствует ли этому связность «От события»? Кто хочет это знать? Именно поэтому на это можно только отважиться.

Найдет ли этот опыт когда-нибудь истолкователя? Того, кто сможет говорить об идущем в будущее и готовящем это будущее пути? Но не того, кто высчитывает лишь, сколько в этом современного, и все таким образом «разъясняет» — и уничтожает.

41. Всякое сказывание бытия держится в словах (Worten) и именовании

Всякое сказывание бытия держится в словах и именовании, которые понятны в направлении повседневного полагания сущего и помыслены исключительно в этом направлении, но в качестве изречения бытия истолковываются ложно. Таким образом для этого потребовалось вовсе не только упущение вопроса (внутри области истолкования бытия мышлением); слово уже само раскрывает нечто (известное) и скрывает тем самым то, что должно быть приведено в сказывании мышления в открытое.

Эту трудность ничем нельзя устранить, и даже сама попытка сделать это уже означает недооценку всего сказывания о бытии. Эта трудность должна быть воспринята и понята в ее сущностной принадлежности (к мышлению бытия).

Это обуславливает тот способ действия, который в известных границах идет поначалу каждый раз навстречу обычному мнению и должен некоторый отрезок пути пройти с ним, чтобы в подходящий момент затребовать резкого поворота мышления, но под властью того же самого слова. Например, «решение» сначала может и должно, даже если не морально, все же по своему исполнению подразумевать «акт» человека, до тех пор пока под этим словом не начинает вдруг предполагаться существо самого бытия. Но это не значит, что бытие истолковывается «антропологически», а наоборот — то, что человек возвращается в существо бытия и освобождается. Точно так же: «махинация» это способ поведения человека и вдруг собственно нечто обратное — существо (не-существо) бытия, где лишь укоренено основание возможности «производства».

Но это «обратное» не есть просто «формальный» трюк поворота в значении просто-напросто слов, а *преображение самого человека*.

Разумеется, верное схватывание этого преобразования, прежде всего пространства его события, а значит, обосновывание этого, переплетено в самой глубине со знанием истины бытия.

Преобразование человека предполагает здесь становление-по-иному его существа, когда в принятом до того истолковании (animal rationale), правда, прикрытом и ложно перетолкованном через психологию, подразумевается также отношение к сущему, но не обосновано и не развернуто как сущностное основание. Ибо сущностное основание включает в себя спрашивание вопроса об истине бытия и «метафизику».

В бытийно-историческом мышлении впервые выходит на простор сущностная сила присущего «Не-» (Nicht-haften) и переворачивания.

На этом «пути», если может так называться падение и восхождение, задается каждый раз тот же самый вопрос о смысле бытия, и только этот вопрос. И поэтому позиции спрашивания постоянно меняются. Всякое сущностное спрашивание должно, если оно при этом каждый раз спрашивает все более исходно, менять себя до самого основания. Здесь нет никакого постепенного «развития». Тем более нет *того* отношения более позднего к более раннему, согласно которому в первом уже заключено второе. Поскольку в мышлении бытия все держится на единственном, то падения в нем являются как бы правилом! Кроме того, против этого может выступить также и исторический метод исследования: снимать более раннее как «ложное», или уличать более позднее в том, что оно «уже сказано» в более раннем. «Изменения» настолько существенны, что они могут быть определены лишь в их масштабе, если при этом каждый раз этот *один* вопрос прорабатывается, исходя из их места спрашивания.

Разумеется, «изменения» обусловлены не извне, через возражения. Ибо до сих пор еще никакое возражение не стало возможным, поскольку совершенно не понят *вопрос*. «Изменения» возникают из растущей бездонности (*Abgründigkeit*) самого вопроса о бытии, благодаря чему устанавливается любая их историческая привязка. Поэтому, конечно, сам *путь* всегда более сущностен не как «личностное развитие», а как совершенно биографически понятное усилие человека, усилие привести само бытие в сущем к своей истине.

Здесь лишь повторяется, что с конца первого начала западной философии, т. е. с конца метафизики, должно происходить все решительнее: то, что мышление бытия не является никаким «учением» и никакой «системой», а должно стать собственной историей и тем самым потаеннейшим.

В первый раз это происходит в мышлении Ницше; и то, что здесь нам выходит навстречу как «психология» и как *саморасчленение*, распад и «Ессе homo», со всем тем, что современно пустынному времени, имеет свою собственную истину как историю мышления. Мышления, которое у Ницше еще только *ищет* требующее осмысления (*Zudenkende*) и находит его в кругу *метафизической* постановки вопроса (*Wille zur Macht und ewige Wiederkehr des Gleichen*).

Начиная с опыта «Бытия и времени» этот вопрос хотя и устанавливается более исходно, но при этом все происходит здесь в меньшем масштабе, если это вообще сравнимо.

Исполнение вопроса о бытии не допускает подражания. Здесь каждый раз все необходимости пути — исторически впервые, потому что единственны. Рассмотрено ли «историографически»

(«historisch») как «новое» или «своеобразное» — здесь это совершенно невозможная позиция для суждения.

Историчное (geschichtliche) овладение историей западного мышления становится все более сущностным, а рассмотрение «историографической» («historischen») или «систематической» философской учености становится все в большей степени невозможным.

Ибо нужно не принимать к сведению новых представлений о сущем, а обосновывать человеческое *бытие* (Menschsein) в истину бытия (Sein) и подготавливать это обоснование в продумывании бытия и вот-бытия.

Эта подготовка заключается не в приобретении предварительных знаний, из которых позднее должны быть раскрыты собственные познания. Подготовка здесь — это прокладывать путь, толкать на него — в сущностном смысле — *настраивать*. Но с другой стороны, это не так, что помысленное и требующее мышления будто бы лишь безразличный повод для движения мысли, а истина бытия, знание осмысления есть все.

Однако же путь этого продумывания бытия не имеет четко обозначения на полевой карте. Поле *становится* лишь только *благодаря пути*, оно неизвестно и невычислимо в любой точке пути.

Чем подлиннее путь продумывания есть путь к бытию, тем безусловнее он становится на-строенным самим бытием.

Продумывание подразумевает не выдумывание и произвольное изобретательство, а то мышление, которое спрашивая подставляет себя бытию и вызывает его настраивание спрашивания.

Но каждый раз в продумывании бытия сущее в целом должно быть поставлено к решению, которое все же всегда достигается лишь в *одном* горизонте пути, и чем более скудно это получается, тем более изначально принимает решение знак (Wink) бытия.

Поле, которое становится через путь и становится как путь продумывания бытия — это *Между*, которое *при-сваивает* вот-бытие Богу, и лишь в этом при-сваивании человек и Бог будут друг для друга «познаваемы», принадлежны в стражничестве и нужде бытия.

43. Бытие и решение

Востребованные богами, потрясенные этим возвышением, мы должны в направлении этого сокрытого расспрашивать сущность бытия как *такового*. Но в таком случае мы можем прояснять бытие не как якобы дополнительное, а должны схватывать его как источник, который богов и людей *раз-решает* и *при-сваивает* (ent-scheidet und er-eignet).

Это распрашивание бытия исполняет раскрытие игры пространства-времени его бытийствования — обоснование вот-бытия.

Если здесь речь идет о решении (Ent-scheidung), то мы мыслим о действии человека, об исполнении, о процессе. Однако ни человеческое в действии, ни вообще нечто соразмерное процессу не являются здесь сущностными.

Правда, едва ли возможно — приблизиться к бытийно-исторической сущности решения и не исходить при этом все же из человека, от нас, и не мыслить при «решении» относительно выбора, когда решаешься на то или другое, о предпочтении одного и отставлении другого, наконец не сталкиваться со свободой как причиной и способностью оттеснять вопрос о решении в «морально-антропологическое» и вообще даже формулировать его заново именно с помощью «решения», в «экзистенциальном» смысле.

Опасность «экзистенциально»- «антропологически» ложно истолковать в этом направлении «Бытие и время», рассматривать взаимосвязи между решимостью, истиной и вот-бытием с позиции морально понятого решения, вместо того чтобы, *наоборот*, понимать, исходя из правящего основания вот-бытия, истину как открытость и решимость (Ent-schlossenheit) как обнаруживающее допущение (zeitigende Einräumung) игры времени-пространства бытия; эта опасность весьма реальна и усиливается из-за того, что во многом осталось непреодоленным в «Бытии и времени». Но ложное истолкование в своей основе, хотя и в не разработанном преодолении, устраняется, если с самого начала основной вопрос о «смысле бытия» устанавливается как тот *единственный* вопрос.

В таком случае то, что здесь называется решением, сдвигается в глубочайшее сущностное средоточие самого бытия и не имеет ничего общего с тем, что мы называем выбором и т. п., а значит: друг-перед-другом-расступание, которое разделяет и в этом разделении позволяет лишь вступить в игру при-своению (Ereignung) именно этого друг-с-другом *открытого* как просвета для себя-сокрывающего и еще не-решенного, для бытийной принадлежности человека как основателя своей истины и для приписанности бытия ко времени последнего Бога.

С позиции Нового времени мы мыслим из себя и сталкиваемся, когда мы мысленно от себя отходим, каждый раз лишь с пред-метами. По этому привычному пути пред-ставления мы спешим туда и сюда и в его горизонте разъясняем все и никогда не задумываемся о том, допускает ли этот путь по мере следования по нему какой-либо прыжок в сторону, благодаря которому мы лишь впрыгиваем в «пространство» бытия, ухватываем для себя в прыжке (er-springen) решение.

А когда мы оставляем за собой «экзистенциальное» ложное толкование «решения», перед нами предстает опасность другого

ложного истолкования, которая, правда, сегодня особенно охотно смешивается с предыдущей.

Нечто присущее решению как «волевое» и «соразмерное власти» могло бы быть понято в противопоставлении к «системе» со ссылкой на слово Ницше: «Воля к системе есть недостаток честности» (VIII, 64)¹⁰. Прояснение этого противопоставления, разумеется, необходимо, потому что решение приходит к противопоставлению «системе», но в более сущностном смысле, чем увидел это Ницше. Ибо для него «система» — это все же всегда предмет «системостроительства», дополнительного размежевания и упорядочивания. Однако даже если мы признаем за Ницше более адекватное понимание сущности системы, надо сказать, что он эту сущность не понял и не мог понять, потому что находился даже в своем вопрошании еще в рамках того самого понимания «бытия» (сущего), на основании которого и как раз вертывание которого и возникает «система», а именно в рамках *представленности* сущего в схватывающем заранее объединении, где предметность предмета представляется (сущностное прояснение в кантовском определении трансценденталий). «Порядок» и наглядность (не *ordo* Средневековья) — это лишь следствия «систематического», не его сущность. И в конце концов *честности* принадлежит как раз «система», как ее не только внутреннее выполнение, но и как ее предпосылка. Конечно, Ницше в этой честности столь же имеет в виду нечто иное, когда он не проникает через это понятие «система» в *существо* Нового времени. Недостаточно понимать «систему» лишь как своеобразии Нового времени, это может быть правильно; тем не менее при этом может быть понято поверхностно Новое время.

Слова Ницше о «системе» также могут охотно использоваться как нехитрые оправдания бессилия к мышлению, далеко идущему темными путями. Или по меньшей мере «систему» как рамочную конструкцию отвергли ради некой «систематики», которая представляет собой лишь занятую взаимно форму «научного мышления» для философского мышления.

Если «решение» противопоставляется «системе», то это переход из Нового времени в другое начало. Поскольку «система» содержит сущностную характеристику сущности сущего в Новое время (представленность), а «решение» подразумевает бытие для сущего (не только сущее, исходя из сущего), то решение с позиции существа бытия некоторым образом «систематичнее», чем любая система, т. е. исходное определение сущего как такового. В таком случае не только «системостроительство», но и «систематическое мышление», по-прежнему поверхностно основаны

¹⁰ F. Nietzsche. *Götzen-Dämmerung*. В: Nietzsche's Werke (Großoktavausgabe), Bd. VIII. Leipzig (Kröner) 1919. S. 64). В рус. переводе: Ф. Ницше. Соч. в 2 т. под ред. К. А. Свасьяна. Т. 2. «Сумерки идолов». Изречения и стрелы. 26. С. 56с.

на обеспеченном истолковании сущего, в противоположность задаче спрашивания об истине бытия, задаче мышления решения.

Однако мы прежде всего мыслим «решение» как встречу внутри *или* — *или* (Entweder — Oder).

Целесообразно подготавливать изначальное бытийно-историческое истолкование *решения* через указание на «решения», которые возникают из того решения как исторические необходимости.

Давняя, не только Нового времени, привычка к поверхностности человека (как *animal rationale*) во всем западном мышлении создает трудность для употребления слов и понятий с якобы антропологически-психологическим содержанием, исходя из совершенно иной истины и ее обоснования, не избегая антропологического ложного истолкования и удобного возражения, что все это именно «антропологично». Правомерность этого возражения столь безгранична, что вызывает подозрения. В ее основании лежит то, что человека, т. е. себя самого, ни в коей мере не *хотят* ставить под вопрос, возможно, потому, что втайне все же полнотью не уверены в антропологическом господстве человека.

44. «Решения»

Хочет оставаться человек «субъектом» *или* он обосновывает вот-бытие?

Должны с этим субъектом оставаться прочным «*animal*» как субстанция и «*rationale*» как «культура» *или* истина бытия (см. ниже) находят свое место становления в вот-бытии?

Воспринимает сущее бытие как свое «самое общее» и тем самым передает «онтологии» и заваливает *или* бытие в своей единственности приходит к слову и настраивает сущее как единственное?

Вырождается истина как правильность в достоверность и надежность исчисления и переживания *или* начально необоснованная сущность $\phi\lambda\acute{\eta}\theta\epsilon\iota\alpha$ как просвет себя-сокрытия находит свое основание?

Упрочивает сущее как самое самопонятное все среднее, малое и посредственное до разумного *или* более всего требующее-спрашивания составляет прочность бытия?

Является искусство устройением переживаний *или* полаганием-в-произведение истины?

Опускается история до арсенального склада подтверждений и прогнозов *или* поднимается как горная цепь странных недоступных гор?

Унижается природа до области эксплуатирования вычисления и устройства и до повода для «переживания» *или* она как закрывающаяся земля несет в себе открытое мира без образов?

Празднует свои триумфы разбожествление сущего в христианизации культуры *или* нужда нерешенности близости и дальности богов подготавливает пространство решения?

Отваживается ли человек на бытие и тем самым за-ход (Untergang) *или* довольствуется сущим?

Отваживается человек вообще еще на решение *или* отдается отсутствию решений, которое эпоха настоятельно рекомендует как состояние «высшей» «активности»?

Все эти решения, которых по видимости много, и они многообразны, можно свести к одному единственному: ускользает ли окончательно бытие *или* это ускользание как непринятие становится первой истиной и другим началом истории?

Самое сложное и самое примечательное в решении *для* бытия скрывается в том, что оно остается незримым, в случае, когда оно выражается, оно неизбежно ложно истолковывается и таким образом, пожалуй, охраняется от всякого вульгарного захватывания.

Почему вообще должны приниматься решения? Если да, то они являются необходимостями нашей эпохи не только как эти определенные необходимости, но и вообще как решения.

Что такое здесь решение? Оно определяет свое существо из существа перехода Нового времени в нечто для него Другое. Определяется ли благодаря этому его существо или переход является лишь знаком его существа? Приходят ли «решения», потому что должно быть другое начало? А должно ли быть *это* начало, потому что существо самого бытия есть решение и в этом развертывании существа дарит свою истину впервые в истории человека?

Здесь нужно сказать подробно о том, что словом об *истине бытия* именно *не* подразумевается.

Это выражение означает: не «истину» «о» бытии, уж совсем не последовательность правильных предложений о понятии бытия или непроверяемое «учение» о бытии. Даже если такое могло бы быть когда бы то ни было сообразно бытию, что невозможно, это должно было бы иметь предпосылкой не только то, *что* имеется какая-то «истина» о бытии, но и прежде всего то, какого рода вообще существо той истины, в которой оказывается бытие. Откуда же еще существо *этой* истины, и тем самым существо истины как таковой, должно себя определять, как не из самого бытия? И это не только в смысле «выведения» из него, а в смысле достижения этого существа через бытие, нечто такое, чем мы не сможем располагать ни через какие «правильные» воззрения на бытие, что, более того, принадлежит единственно открытым моментам бытийной истории.

Но это выражение также не означает: «истинное» бытие, тем более в неясном значении, которое подразумевает «истинное», поистине, действительно сущее. Ибо здесь опять уже пред-

посылается понятие «действительности», подводится под бытие как масштаб, в то время как бытие не только дает сущему то, что оно есть, но и прежде развертывает самому себе из своего существа истину, себе сообразную.

Эта истина бытия вовсе не есть нечто отличное от бытия, а есть его собственнейшее существо, поэтому для истории бытия важно, дарит бытие эту истину и самого себя или отказывает и таким образом лишь собственно вносит в свою историю бездонное (*Abgründige*). Указание на то, что обычные понятия «истины» и обычное неразличение бытия и сущего приводят к ложному толкованию истины бытия и прежде всего таковое *уже каждый раз предпосылают*, может теперь еще и само же выродиться во введение в заблуждение, когда оно допускает следующий вывод: нужно тем самым лишь высказать невысказанные «предпосылки», как будто *предпосылки* схватываемы без понимания того, откуда они посылаются, т. е. без понимания уже в это *пред-положение* положенного *как* такового. Возвращение к «предпосылкам» и «условиям» в рамках сущего и истолкования сущего по его сущести в смысле представленности (уже в *idéα*) имеет свой смысл и правоту, поэтому оно стало в многообразных вариациях основной формой „метафизического“ мышления, причем до такой степени, что даже преодоление «метафизики» для начального взаимопонимания не может обойтись без этого способа мышления (*ср.* «Бытие и время» и «О существе основания», *здесь*: Опыт прыжка в бытие).

До тех пор пока «бытие» понимается как сущность (*Seiendheit*), как в некотором смысле «общее» и таким образом как некое полагаемое за сущим условие сущего, т. е. его представленности, т. е. его предметности, т. е. наконец, его бытия-«самого-по-себе» («*An sich*»-*Seins*), само бытие низводится до истины сущего, правильности пред-ставления.

Поскольку все это в самом чистом виде осуществляется у Канта, постольку можно на его произведении попытаться выявить еще более изначальное и поэтому из него не выводимое, именно полностью иное, рискуя тем, что теперь еще и такой опыт будет вновь прочитан по-кантовски, ложно истолкован как произвольное «кантианство» и будет обезврежен.

Западная история западной метафизики — это «доказательство» того, что истина бытия не стала вопросом, и указание на причины этой невозможности. Но самая грубая недооценка истины бытия, скорее всего, находится в «логике» философии. Ибо это осознанное или неосознанное перенесение обратно на себя «теории познания». Однако «теория познания» — это лишь форма беспомощности метафизики Нового времени по отношению к самой себе. Путаница достигает высшей точки, когда теперь эта «теория познания» выдает себя за «метафизику познания»; вычисления на счетной линейке «апоретики» и «апоре-

тического» рассмотрения «самих по себе» наличных «направлений» и «проблемных фронтов» становится, и с полным правом, *тем* методом философской учености новейшего времени. Это лишь последние ответвления процесса, в котором философия лишается существа и вырождается в самую грубую двусмысленность, поскольку то, что кажется философией, уже *не может* быть таковой для знающих. А потому и все попытки сказать, что *не* есть истина бытия, должны примириться с тем, что они дали не больше чем новую пищу невежественному своенравию дальнейшего ложного истолкования, если такие разъяснения основаны на вере, что не-философия может благодаря поучению стать философией. Но, пожалуй, осмысление того, что *не* есть истина бытия, является сущностно *историчным*, если оно сможет помочь сделать более прозрачными основные движения в метафизических основопозициях западного мышления и более проникновенной сокрытость бытийной истории.

Во всем этом также, разумеется, сказано, что любой отказ, в подлинном смысле слова, от философского производства имеет свою необходимость лишь тогда, когда познается при этом то, что осмысление истины бытия включает преобразование мыслящего отношения в мышление мыслителей, преобразование, перемены которого, разумеется, не могут быть осуществлены через моральные указания, а должны быть *пред-*расположены, а именно в открытости незримого и свободного от шума.

Почему *истина* бытия является не прибавлением и не обрамлением к бытию, также и не предпосылкой, а именно глубочайшим существом самого бытия?

Потому что существо бытия бытийствует (*west*) в при-своении (*Er-eignung*) решения. Откуда же мы знаем это? Мы не знаем это, а расспрашиваем это и открываем в таком спрашивании бытия его место и, возможно, место, им затребованное, если сущность бытия должна стать непринятием, для которого недостаточное спрашивание остается единственно сообразной близостью.

И таким образом, все же на более чем длительный срок обсновывающее всякое вот-бытие созидание (и *лишь только* это, не повседневное уверенное занятие устройением сущего) должно будить истину бытия как вопрос и нужду, через самые решительные тропы и в изменчивых, казалось бы, несвязных и друг другу неизвестных подъемах, и делать ее готовой для тишины бытия, но и решительной *против* любой попытки (в желании просто возвращения, пусть даже к самой «драгоценной» традиции) запутать и ослабить беспощадное принуждение к нужде осмысления.

Знание о постоянной осторожности избранного принадлежит к стражничеству бытия, чья сущность как истина светится даже в темноте своим собственным накалом.

Истина бытия есть бытие истины — сказанное так звучит как искусственное и принужденное переворачивание

(Umkehrung), в крайнем случае как уведение в сторону диалектической игры. Между тем это переворачивание лишь мимолетно-поверхностный знак того *поворота* (*Kehre*), который осуществляется в самом бытии и бросает свет на то, что здесь может быть названо решением.

45. «Решение»

Уже давно наступающее в сокрытом и заваленном решение есть для истории или для утраты истории. Но *история* здесь понимается как осуществление спора земли и мира, взятая и исполненная из принадлежности призыву события как бытийствованию истины бытия в образе последнего Бога.

Решение совершается вследствие того, что необходимость самого крайнего *задания* познается из глубочайшей нужды оставленности бытием и уполномочивается на прочную власть.

Но *задание* в свете и на пути решения есть: *сокрытие истины события из сдержанности вот-бытия в великую тишину бытия.*

Благодаря чему совершается решение? Благодаря *дару* или *отсутствию* тех выделенных Отмеченных, которых мы проименовали «настающими» в отличие от различных случайных и безудержных более Поздних, которые ничего уже не имеют ни перед собой, ни за собой.

К этим Отмеченным принадлежат:

1. *Немногие отдельные*, которые в сущностных путях обосновывающего вот-бытия (поэзия — мышление — поступок — жертва) для областей сущего заранее обосновывают места и моменты. Они создают таким образом бытийствующую (*wesende*) возможность для различных сокрытий истины, в которых вот-бытие становится историчным.
2. Более многочисленные объединенные, которым, исходя из схватывания знающей воли и обоснований отдельных, дано предугадать законы пересоздания сущего, хранения земли и наброска мира в их споре и сделать их очевидными в исполнении.
3. Многие, предоставленные друг другу, через которых и для которых, согласно общему историческому (земному и мировому) происхождению, упрочивается преобразование сущего и тем самым обоснование истины события.
4. Отдельные, немногие, многие (взятые не по количеству, а соответственно их отмеченности) находятся еще частично в старых, ходовых и размеченных упорядоченностях. Эти упорядоченности есть либо еще защита, как некая скорлупа, их находящейся под угрозой прочности, либо еще движущие силы их воли.

Единогласие этих отдельных, немногих и многих сокрыто, не искусственно, внезапно и само по себе растущее.

Оно управляемо всегда различным правлением события, где подготавливается исходная общность, в которой и через которую событие становится историчным, что может быть названо *народом*.

5. Этот народ в своем происхождении и в своем предназначении (Bestimmung) единственен соразмерно единственности самого бытия, чью истину можно обосновать единственно на единственном месте в единственный момент.

Каким образом может быть подготовлено это решение? Имеют здесь знание и воля пространство распоряжения (Verfügung) или это было бы лишь слепым вмешательством (Eingriff) в сокрытые необходимости?

Но необходимости засвечиваются лишь в нужде. А подготовка готовности к решению находится, разумеется, в нужде ускорить в конце концов только еще раскручивающуюся без-историчность и ужесточить ее условия, в которых она хотела бы все-таки иного.

Кто не знает *этой* нужды, не чувствует тени от предстоящих решений.

Решение совершается в тишине. Но тем более таким способом происходит разрушение возможности решения через угрожающую безудержность искоренения.

Решение, его необходимость и даже подготовка остаются тем меньше слышимы, чем больше шума вокруг данностей «всемирно-исторических» переворотов, чем исключительнее всякое слышание и слушание претендуют только еще на гигантское и знаменитое (Laute), а всему противостоящему, особенно великой тишине, позволяет тонуть в ничтожности.

«Всемирно-исторические» события никоим образом не могут еще принимать видимые масштабы; это свидетельствует прежде всего лишь о росте неистовства в высвобожденной области махинаций и числа. Это ни в коем случае не говорит непосредственно о происхождении сущностных решений. Если же в рамках этих событий и частично согласно их размаху учреждается собрание народа и, соответственно, его существования, учреждается в нем самом, то не может ли здесь открыться путь в близость решения? Несомненно, с крайним риском сразу же полностью упустить область этого решения.

Решение *должно* создавать *то время-пространство*, место для сущностных мгновений, в котором высшая серьезность осмысления заодно с величайшей радостью призвания вырастает в волю обосновывания и строительства, волю, от которой не далека также и путаница. Лишь вот-бытие, ни в коей мере не «учение», может провести преобразование сущего в самом основании. Такое вот-бытие как основание народа нуждается в самой долгой подготовке из начального *мышления*; однако это мышление остается когда бы то ни было *одним* путем

признания нужды, признания, начатом одновременно на многих путях.

Происходит ли в решении еще раз обоснование мест мгновения для обоснования истины бытия или все разворачивается только лишь как «борьба» за условия продолжения жизни и выживания в гигантских масштабах, таким образом, что «мировоззрение» и «культура» являются также все еще опорой и средством борьбы в этой «борьбе»? *В таком случае* что подготавливается? *Переход к технизированному животному*, которое начинает заменять ставшие слабее и грубее инстинкты гигантизмом техники.

В этом направлении решения не характерны технизация «культуры» и проведение «мировоззрения», они становятся средствами техники борьбы за волю, которая уже не хочет никакой цели; ибо сохранение народа — это никоим образом не возможная цель, а лишь условие постановки цели. Если же условие становится безусловным, то приходит нежелание цели, закрытие доступа к власти любого дальновидного осмысления. В таком случае окончательно исчезает возможность познания того, что «культура» и «мировоззрение» уже являются ответвлениями того самого миропорядка, который якобы должен быть преодолен. «Культура» и «мировоззрение» через политическое их использование не теряют своего характера, считаются они при этом ценностями «самими по себе» или ценностями «для» народа. Каждый раз осмысление, если таковое вообще здесь есть, жестко заклинивается в нежелании изначальных целей, т. е. истины бытия, в которой лишь решается возможность и необходимость «культуры» и «мировоззрения».

Только самое крайнее решение из истины и через истину бытия приносит еще ясность; в противном случае в обновлениях и переодеваниях сумерки продолжают или же произойдет полный обвал.

Все эти возможности имеют, вероятно, еще свою долгую предысторию, в которой они остаются еще не узанными и ложно истолковываемыми.

Откуда же придет к будущей философии ее нужда? Не должна ли она сама, зачиная, эту нужду будить? Эта нужда стоит по эту сторону от уныния и тревог, которые обретаются всего лишь в каком-либо укромном месте упроченного сущего и его «истины». Эту нужду, с другой стороны, нельзя устранить и полностью отвергнуть через хорошее настроение будто бы радости по поводу «чудес» «сущего».

Эта нужда, как основание необходимости философии, познается через испуг (Erschrecken) в торжестве бытийной принадлежности, которая как подача знака (Winken) двигает оставленность бытием в открытое.

46. Решение (предварительное понятие)

68

Мартин
Хайдеггер

Решение чего? Истории или утраты истории, принадлежности к бытию или оставленности в не-сущем.

Почему решение, т. е. отчего? Можно ли это решить?

Что такое вообще решение? *Выбор*; нет, выбирают всего лишь пред-данное, то, что можно принять или отклонить.

Решение подразумевает здесь обосновывание и создание, заранее и через-себя располагание или, скорее, снятие и утрачивание.

Не является ли это всюду и здесь самонадеянностью и невозможностью одновременно? Не приходит ли и не идет ли история, как она идет, сокрыто? Да и нет.

Решение совершается в самой тихой тишине и имеет самую долгую историю.

Кто решает? Всякий, также и через нерешение и нежелание знать о нем, через уклонение от подготовки.

Кто стоит перед решением? Мы сами? Кто мы? В нашей принадлежности и непринадлежности к бытию.

Решение относится к истине бытия, не только относится, но и лишь из нее определяется.

Решение таким образом подразумевается в выделенном смысле, поэтому и речь идет о самом предельном решении, которое одновременно глубочайшее.

Но отчего это решение? Потому что *лишь только из самого глубокого* основания самого бытия спасение сущего: спасение как оправдывающее сохранение закона и назначения Запада. *Должно ли это быть?* В какой мере и что за еще спасение? Потому что опасность подошла к самому крайнему, ибо везде искоренение, и, что еще губительнее, при том что, искоренение должно скрываться — начало без-историчности уже здесь.

Решение совершается в тишине не как решение (Beschluß), а как решимость (Entschlossenheit), которая уже обосновывает *истину*, а значит, пересоздает сущее; таким образом создающее решение есть соответственно о-глушение (Betäubung).

Почему же и каким образом происходит подготовка этого решения?

Борьба против разрушения и искоренения — это лишь первый шаг в подготовке, шаг в близость собственного пространства решения.

47. Сущность решения: бытие или небытие¹¹

Сущность решения может быть определена лишь из его сущностного бытийствования. Решение есть решение *или* — *или*

¹¹ ср. Прыжок. 146. Бытие и небытие.

(Entweder — Oder). Но тем самым уже заранее воспринят характер решения. Откуда это: *лишь это* или *лишь это*? Откуда неизбежность этого так или иначе? Не остается ли третья — *безразличие*? Но здесь — в самом предельном, это невозможно.

Что здесь самое предельное — бытие или небытие, а именно не бытие какого-либо сущего, скажем, человека, а бытийствование бытия? Или?

Почему дело доходит здесь до *или — или*?

Безразличие было бы лишь *бытием не-сущего*, лишь *более высоким ничто*.

Ибо «бытие» не подразумевает здесь наличное бытие само по себе, небытие же подразумевает здесь не полное исчезновение, а небытие как некий вид бытия: существую и все же не существую; равным образом бытие подразумевает не сущее (*nichthaft*) и все же именно существующее.

Это взятое обратно в бытийствование бытия требует прозрения в принадлежность ничто бытию, и лишь таким образом *или — или* получает свою остроту и свой источник.

Так как бытие имеет характер *не-*, оно нуждается для устойчивости своей истины в существовании *не-* и тем самым одновременно в противопоставленности всему ничтожному, не-сущему.

Из присущей сущности ничтожности бытия (поворот) проистекает то, что бытие требует и нуждается в том не-сущем, что показывается вот-бытием как *или — или*, одно или другое, и только они.

Сущностное бытийствование решения — это достижение в прыжке (*Zusprung*) решения или *безразличие*; таким образом, не *ускользание* (*Entzug*) и не *разрушение*.

Безразличие — как не решать.

Первоначально принимается решение о том, решать или не решать.

Но решение — это приведение себя к *или — или* и тем самым есть уже *решительность*, потому что здесь уже имеет место принадлежность к событию.

Решение о решении (поворот). Никакой рефлексии, а нечто противоположное этому: решение о *том или ином* решении, т. е. уже знание события.

Решение и вопрос; спрашивание первичнее — оно приводит сущность истины к решению. Но сама истина — это уже *безусловно требующее решения*.

48. В каком смысле решение принадлежит к самому бытию

Решение и *нужда* как обходной путь брошенности бросающего (*Geworfenheit des Werfers*).

Решение и спор.

Решение и поворот.

Кажется, что будто бы решение — бытие или небытие, всегда уже решено в пользу бытия, так как все же «жить» — это хотеть бытия. Следовательно, здесь нет ничего для принятия решения.

Но что означает здесь «жизнь», и насколько широко эта «жизнь» понимается? Как *инстинкт самосохранения*.

Общее и низкое, присущее массе и удобное имеют этот инстинкт самосохранения, и это так. Таким образом, исходя из такого рода соображений, вопрос о решении не может быть поставлен.

49. Почему должны совершаться решения?

Почему должны совершаться *решения*? Что это такое — *решение*? Необходимая форма исполнения *свободы*. Несомненно, мы мыслим «каузально» и воспринимаем свободу как *способность* (*Vermögen*).

Не является ли «решение» еще и весьма утонченной формой исчисления? Или из-за этой кажимости не только самая крайняя противоположность, но и *несравнимое*?

Решение, как акт человека, рассмотренный сообразно процессу, происходит в последовательности.

В *ней* необходимое, «лежащее» *до* «акта», через него приходящее (*Greifende*).

Бытийно-историческое схватывание того, что в решении *присуще времени-пространству*, как разверзающейся пропасти (*aufbrechende Klüftung*) самого бытия, не морально-антропологично. Подготовительное простирание (*Einräumung*), в таком случае также не есть дополнительная рефлексия, а наоборот.

В общем: все человеческое существо, поскольку оно обосновано в вот-бытие, необходимо переосмыслить бытийно-исторически (но не «онтологически»).



Американский историк и теоретик литературы Джозеф Хиллис Миллер (р. 1928) известен как один из основателей Йельской школы деконструктивизма, в свое время (в 80–90-х гг. XX в.) наиболее влиятельного и авторитетного направления в литературоведении США. Главная тема исследований Дж. Х. Миллера — взаимопроникновение критического и литературного текстов в процессе рецептивного освоения художественных произведений аудиторией, основной предмет критики — концепция референциальности языка, рассматривающая возможность адекватного постижения и отображения реальности литературными средствами. Язык и мышление «изначально фигуративны», утверждает Дж. Х. Миллер, «понятие референциального применения языка является поздней иллюзией, возникшей в результате забвения метафорических „корней“ речи»¹. Задача критика-деконструктора заключается в «расколдовывании» текста, в разрушении иллюзии цельности и самоидентичности произведения, в демонстрации принципиальной ошибочности или недостаточности объективной интерпретации, наложенной на текст самим автором, первоначальной аудиторией или традицией. «Читатели, а зачастую и писатели, комментируя собственные произведения, всегда поддавались соблазну остановиться на одном обобщающем значении. Это чисто метафизическая потребность, которая... противоречит природе литературы»². По Дж. Х. Миллеру, всякое литературное произведение, с одной стороны, «сопротивляется критическому прочтению», ускользая от понимания и апроприации, а с другой — «дарит себя» читателю, открывая широкое поле возможных интерпретаций (и чем лучше произведение тем шире это поле возможностей). Чтение, как отмечает Дж. Х. Миллер в одной из своих программных работ, «является скорее перформативным, нежели ког-

- 1 J. H. Miller. *Tradition and Difference. Rev. of M. H. Abrams' «Natural supernaturalism»* // *Diacritics*. 1972. Vol. 2. № 2. P. 11.
- 2 Он же. *The Figure in the Carpet* // *Poetics Today*. 1980. Vol. 1, 3. P. 113.

нитивным актом»³; оно предполагает сотворческую активность читателя (исследователя, историка, экзегета), который как бы овладевает произведением, навязывая ему тот или иной смысл. Причем успех освоения текста во многом зависит от интертекстуальной компетентности и добросовестности читателя-критика, который не позволяет себе расслабиться, остановиться на определенной, пусть очень соблазнительной интерпретации ради дальнейшего процесса сотворчества, взаимного проникновения и обогащения текстов. Критик играет с произведением, как кошка с мышкой, то отпуская, то вновь настигая; одно прочтение накладывается на другое, одна интерпретационная версия разыгрывается против другой. Так возникает бесконечная вибрация (осцилляция) толкования, выявляющая гетерогенность текстовых смыслов и в конечном счете — неопределенность текста, многоголосие, когда произведение-монолог превращается в диалог или даже полилог⁴.

Дж. Х. Миллер является почетным профессором университетов Флориды, Стэнфорда, Пекина и Сарагосы, постоянным автором журналов «Victorian Studies», «Modern Language Notes», «Poetics Today», ELN и др.

ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:

- Poets of Reality: Six Twentieth-Century Writers (1965),
- Charles Dickens and George Cruikshank (1971),
- The Linguistic Moment: from Wordsworth to Stevens (1985),
- Victorian Subjects (1990),
- Theory Now and Then (1990),
- Topographies (1995),
- Reading Narrative (1998),
- Speech Acts in Literature (2001),
- Literature as Conduct: Speech Acts in Henry James (2005).

³ Он же. *Reading Narrative*. Norman: University of Oklahoma Press, 1998. P. 39.

⁴ См.: J. H. Miller. *The Critic as Host // Deconstruction and criticism*. — L., 1979. P. 252.

О двойном диегезисе у Платона⁵

Д Ж . Х И Л Л И С М И Л Л Е Р

Перевод И. Джогадзе

В «Государстве» Платона есть одно интересное место, где проводится различие двух типов художественного повествования — простого, называемого диегезисом, и подражательного — мимесиса, или двойного (*double*) диегезиса. Осознание этой всегда актуальной и неустранимо-амбивалентной возможности *диалога* с его децентрацией дискурса и «полифонизмом голосов» (Бахтин) издавна, начиная с самых ранних истоков, волновало философскую мысль Запада. Критическое отношение Платона к мимесису общеизвестно; оно обусловлено рядом причин, которые, как правило, ищут в теолого-метафизических основаниях учения о диегезисе и связывают с противопоставлениями истины — лжи, мужского начала — женскому и устной речи — письму.

Парадигмой повествования-диегезиса оказывается у Платона речь бога: «Лживый поэт не живет в боге... Бог — это нечто вполне простое и правдивое и на деле, и в слове; он и сам не изменяется и других не вводит в заблуждение ни на словах, ни посылая знамения — ни наяву, ни во сне»⁶. Аналогом этой простой и правдивой речи божества является, по всей видимости, авторитарный мужской голос, вещающий «изнутри» собственного присутствия и предъявляющий то, что этим присутствием-себя (*self-presence*) удостоверяется, голос, который не оставляет места сомнению, не терпит обмана и не допускает чужой, звучащей не в унисон речи. Проблема, однако, заключается в том, что *всякая* речь по определению деривативна, производна, вторична. Судить о Логосе, о созидательности и продуктивности Бога, Духа или Природы по аналогии с речью человека (а это, похоже, единственный способ) — все равно что блуждать мыслью по запутанным лабиринтам сознания без ясных указующих ориентиров, в области вечной зыбкости и неопределенности, где начало и конец, следствие и причина, копия и оригинал могут меняться местами.

5 J. H. Miller. *Reading Narrative*. Norman: University of Oklahoma Press, 1998. P. 123–128.

6 Платон. *Государство*. 382d-e.

Отвергая мимесис с разноголосицей диалога (как нечто сомнительное, вводящее в заблуждение и ненадежное), Платон отдает предпочтение тому типу повествования, который предполагает прямое и непосредственное, от первого лица, обращение поэта к слушателю. Это и есть простой диегезис. Мимесис, напротив, имеет место в ситуации, когда поэт уподобляется кому-то другому и высказывается от чужого имени. Платон приводит занятный пример из «Илиады» Гомера — пересказ диалога старика Хриса с царем Агамемноном. Гомер, пишет он,

...говорит так, будто он и есть сам Хрис, и изо всех сил старается заставить нас поверить, что это говорит не Гомер, а старик жрец. / ... / Когда он приводит какую-либо речь от чужого лица, разве мы не говорим, что он делает свою речь как можно более похожей на речь того, о чем выступлении он нас предупредил? / ... / А уподобиться другому человеку — голосом или обликом — разве не означает подражать тому, кому ты уподобляешься? / ... / Если бы поэт нигде не прятался, все его творчество и повествование были бы лишены подражания. / ... / Если бы, сказавши, что пришел Хрис, принес выкуп за дочь и умолял ахейцев, а особенно царей, Гомер продолжал бы затем свой рассказ все еще как Гомер, а не говорил бы так, словно он стал Хрисом...это было бы не подражание [мимесис], а простое повествование [диегезис]. И было бы оно в таком роде (скажу не стихами, ведь я далек от поэзии): «Пришел жрец и стал молиться, чтобы боги позволили им, взяв Троию, остаться самим невредимыми и чтобы ахейцы, взяв выкуп и устыдившись бога, вернули ему дочь; когда он это сказал, все прочие почтили его и дали согласие, но Агамемнон разгневался и приказал ему немедленно уйти и никогда больше не приходить, а не то не защитит жреца ни жезл, ни божий венец. А о его дочери сказал, что прежде чем отпустит ее, она состарится вместе с ним в Аргосе. Он велел жрецу уйти и не раздражать его, если тот хочет вернуться домой невредимым. Услышав это, старик испугался и молча удалился, а выйдя из лагеря, стал усердно молиться Аполлону, призывая его всеми его именами и требовательно напоминая ему о своих некогда сделанных ему в угоду дарах — и для построения храмов, и для священных жертвоприношений. В награду за это он просил, чтобы Аполлон отомстил ахейцам за эти слезы своими стрелами» (393а-е, 394а).

Главный недостаток мимесиса, как становится ясно из последующих рассуждений Сократа, заключается в недостоверности и ненадежности подражания. Мимесис — это повествование, которое вводит в заблуждение (лже-повествование в определенном смысле); оно не имеет надежного основания в сознании повествователя, как не имеет такого порождающего основания-органона сам язык, пребывающий в вечном движении и свободном развитии. Развитие языка — суть бесконечная пролиферация ложных значений, символов и метафор, непредсказуемый и никакой верховной инстанцией (Логосом, Разумом, Духом) не управляемый процесс порождения слова самим словом. Миметическое повествование, как и противопоставляемое Платоном устной речи письмо⁷,

⁷ См. диалог «Федр», 274b — 275e.

исключает присутствие голоса автора, оно лишено этого голоса, подобно тому как лишены руководства взрослые дети, брошенные родителями и обреченные на вечный поиск себя в скитаниях по миру. Укорененность языка (речи) в сознании говорящего, зависимость слова от мысли — вот против чего восстает мимесис. Он вносит раскол в дискурс повествования-дигезиса, чтобы разрушить эту связь. Как только мимесис вступает в свои права, он стремительно пролиферирует, захватывая в орбиту своего разлагающего влияния все новые и новые объекты. Платон выстраивает иерархию этих объектов подражания, располагая их по убывающей качеств от высших форм (начиная с женщины) к низшим. В фалло-лого-центристской доктрине Платона женщина предстает существом от рождения лживым, двуличным и непостоянным: когда она говорит, ей нельзя верить, ее речи вводят в заблуждение. Однако из всех недостойных объектов мимесиса она, так сказать, наименее недостойная. Ниже располагаются рабы и «дурные люди», сумасшедшие и, наконец, неживые объекты природного мира, лишённые чувств и разума, даже того «мелкого» и пустого, наличие коего у женщин Платон все же снисходительно признает. Примеров последнего, наихудшего рода мимесиса не счесть. Достаточно вспомнить сцену в дублинской типографии из 7-й главы «Улисса» Джойса (описание работы печатного стана)⁸ или омонотопею раскатов грома в «Поминках по Финнегану»⁹.

Вот что пишет Платон об этих разнотипных подражаниях, которыми так любят злоупотреблять рассказчики в ущерб своим повествованиям.

...Мы не допустим [говорит Сократ], чтобы те, о ком мы заботимся и кто должен стать добродетельным, подражали бы женщине, хотя сами они мужчины; все равно, молодая женщина или уже пожилая, бранится она с мужем или спорит с богами, заносчиво воображая себя счастливой либо, напротив, бедствует... Не годится и подражание рабыням и рабам — ведь они выполняют лишь то, что положено рабам... Или подражание дурным людям: ведь они, как водится, трусливы и действуют вопреки тому, о чем мы только что говорили [вопреки поступкам людей «мужественных, рассудительных, свободных»], — злословят, осмеивают друг друга, сквернословят и в пьяном виде, и трезвые, да и вообще, каких только проступков не совершают они по отношению к самим себе и к другим людям как на словах, так и на деле! Также недопустимо, считаю я, чтобы наши стражи привы-

8 «У-ух. Нижний талер ближайшей машины выдвинул вперед доску с первой — у-ух — пачкой сфальцованной бумаги. У-ух. Почти как живая ухаёт чтоб обратили внимание» (Дж. Джойс. *Улисс* (перевод В. Хинкиса и С. Хоружего). М., 1993. С. 94). В оригинале: «Silt. The nethermost deck of the first machine jogged forward its flyboard with silt the first batch of quirefolded papers. Silt» (J. Joyce. *Ulysses*. Harmondsworth, England: Penguin, 1971. P. 123).

9 «Babadalgharaghtakamminarronkonnbronntonnerronntuonnthuntrorvarrho unawnskawntoohooorderenthurnuk!» (J. Joyce. *Finnegans Wake*. New York: Viking, 1947. P. 3).

кали уподобляться — и словом, и делом — людям безумным. Надо уметь распознавать помешанных и испорченных, будь то мужчины или женщины, и ни совершать что-либо подобное, ни подражать им не следует... Следует ли подражать кузнецам, различным ремесленникам, гребцам на триерах и их начальникам, вообще тем, кто занят чем-нибудь в этом роде?

— Как можно! [отвечает Адимант] Ведь нашим стражам не позволено даже ничему этому уделять внимание.

— Далее. Станут ли они подражать ржанию коней, мычанию быков, журчанию потоков, шуму морского прибоя, грому и прочему в том же роде?

— Но ведь им запрещено впадать в помешательство и уподобляться безумцам (395d-e, 396a-b).

Эти строки заставляют нас вспомнить о том, что произведение, которое мы читаем, является диалогом — замечательным образцом той наиболее общей, охватывающей все литературные жанры формы, ценность которой Платон как философ решительно отрицает. На данное обстоятельство обращает внимание Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки». Платоновский диалог, пишет он, представляет собой художественный прообраз романа — самого стилистически разнородного и смешанного литературного жанра.

Если трагедия впитала все прежние формы искусства, то аналогичное может в эксцентрическом смысле быть сказано и о платоновском диалоге, который, как результат смешения всех наличных стилей и форм, колеблется между рассказом, лирикой, драмой, между прозой и поэзией и нарушает тем самым строгий древний закон единства словесной формы... Платоновский диалог был как бы тем челном, на котором потерпевшая крушение старая поэзия спаслась вместе со всеми своими детьми; стесненные на узкой ладье и боязливо покорные единому кормчему — Сократу, пустились они теперь в новый мир, который не мог наглядеться на фантастическую картину этого плаванья. Поистине Платон дал всем последующим векам образец новой формы искусства — образец романа, который может быть назван возведенной в бесконечность эзоповской басней¹⁰...

Обрушиваясь на подражателей, Платон между тем свое собственное рассуждение *contra mimesis* облакает в форму мимесиса. В этом плане диалог «Государство» ничем не уступает таким сложнокомпозиционным «многоголосым» романам (с несколькими рассказчиками вместо одного), как, например, «Грозовой перевал» Бронте или «Лорд Джим» Конрада. В «Государстве» Платон, как обычно, «прячется» за своим героем — Сократом, пересказывающим Главкону и другим участникам диалога свою беседу с Адимантом. В данном повествовании-пересказе, который можно назвать мимесисом в мимесисе (или диалогом в диалоге), повествователь (Сократ) играет сразу две роли, выступая от своего имени и от имени Адиманта, чьи реплики и суждения он воспроизводит. Миметическую природу нарратива акцентируют фразы типа «сказал я» и «сказал он», звучащие из уст Сок-

¹⁰ Ф. Ницше. *Рождение трагедии из духа музыки*. СПб., 2005. С. 120–121.

рата. Мы имеем дело здесь с образцом-моделью определенного типа повествования, а именно с архетипом двойного диегезиса, того самого исконно диалогического (*fundamentally dialogical*) нарратива, линия которого ведет от Платона к Борхесу и другим современным авторам. Любопытно: даже цитированный выше парафраз эпизода из «Илиады», когда Платон устами Сократа «исправляет» Гомера, переводя миметическое повествование в диегетическое, — даже этот фрагмент диалога, вопреки интенции автора, содержит мимесис. Последний присутствует в косвенной речи Хриса и Агамемнона. Дело в том, что косвенная речь *как таковая* диалогична: воспроизведение сказанного другим человеком, сколь бы точен и объективен ни был пересказ, неизменно оборачивается удвоением дискурса. Мимесис расщепляет повествование, делая невозможным восстановление единого начала логоса в речи. Предпринимаемая Сократом попытка очищения текста Гомера, его избавления от мимесиса посредством простой замены грамматического лица, оказывается безуспешной. Вытесненный на периферию дискурса, казалось бы, навсегда изгнанный прочь мимесис возвращается окольным путем, чтобы подорвать нарратив, осуществивший вытеснение. И когда это происходит, немедленно обнаруживается, что чистота / простота / правдивость якобы одномерного дискурса — только иллюзия, не имеющая ничего общего с настоящим положением дел. Ирония в том, что свои аргументы против мимесиса Платон вкладывает в уста Сократа, которому он тем самым уподобляется (подражает) как автор текста Сократ же в платоновском диалоге уподобляется (подражает) себе же более раннему, беседующему с Адимантом и уподобляющемуся в свою очередь автору «Илиады». Но и это не все. Вымышленный Платоном / Сократом псевдо-гомеровский текст, который должен был бы служить образцом простейшего диегезиса, сам отмечен следами мимесиса и включает элементы нарратива, ускользающего от привязки к голосу автора как единственному источнику смысла. И здесь, наконец, уместно задаться вопросом: вправе ли мы, имея представление о специфике платоновского повествования в «Государстве», отождествлять (по примеру Сократа) автора «Илиады» и «Одиссеи» — повествователя, певца, декламатора — с самим Гомером? Обращения к Музе в зачинах обеих поэм подсказывают ответ на этот вопрос. Они напоминают читателю, что голос рассказчика в произведении — это на самом деле голос не одного только автора, но всегда еще чей-то другой, посторонний голос. Поэт просит богиню, чтобы она ввела его в авторство, т. е. помогла стать рассказчиком, рассказывающим как бы от своего имени, но в действительности — не от своего. Мимесис, этот спасительный обман, без которого поэты не научились еще обходиться, принадлежит к существу поэзии как таковой. Даже самые осторожные, упрямые и авторитарные сочинители, ратующие за чистоту диегезиса, не могут изменить этого положения.

Научные объекты и правовая объективность

БРУНО ЛАТУР

Перевод с английского Даниила Аронсона, Виталия Долгорукова, Яны Загорко. По изданию Latour B. Scientific Objects and Legal Objectivity // Alain Pottage and Martha Mundy (Ed.). Law, Anthropology and the Constitution of the Social: Making Persons and Things. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. pp. 73 – 113.

Описание Государственного Совета как лаборатории

«Таковы факты, нравится вам это или нет». «Мы пришли к решению, устраивает оно вас ли нет». Факты тверды в своей обоснованности, а закон тверд в своей строгости, что всякий раз заставляет соглашаться с тем и с другим. В обоих случаях эта твердость такова, что ей можно лишь подчиниться. Еще больший интерес сравнение мира науки с миром права представляет в силу того, что в обеих этих областях в качестве добродетели выдвигается беспристрастный и лишенный предубеждений подход, что обеспечивается за счет дистанцированности и точности; и в обеих областях участники говорят на эзотерических языках и мыслят в специально выработанных терминах. Кроме того, как ученые, так и судьи, похоже, пользуются особым родом уважением, не ведомым в других сферах деятельности. Сравнение, которое я постараюсь сделать в этой главе, является сравнением не столько «науки» и «права», сколько двух лабораторий — лаборатории моего друга Жана Россье в *Ecole de Physique-Chimie* и лаборатории Государственного совета (*Conseil d'Etat*)¹.

1 Эта глава представляет собой переработанную гл. 5 гораздо более длинной этнографической работы *La fabrique du droit: une ethnographie du Conseil d'Etat* (La Découverte. Paris, 2002). Совет играет роль судьи по отношению к административному праву — это называется *Contentieux*, а также роль государственного советника по вопросам права — это называется довольно-таки загадочно *Sections administratives*. Он является частью исполнительной, а не законодательной ветви правления. Как судебная инстанция, он рассматривает все дела, затрагивающие

Вместо того чтобы основывать свое сравнение на том, что говорят о себе сами ученые и юристы, я скорее по своей привычке буду полагаться на результаты этнографических исследований, уделять пристальное внимание местам, особенностям образа жизни, условиям речевого поведения и всем тем незначительным деталям, которые все вместе, добавляя каждая свои незначительные мазки, мало-помалу позволяют по-новому определить науку и право. Развивая такой подход, мы увидим, что эпистемология переняла ряд особенностей своей старшей сестры правосудия и что право зачастую наделяет себя такой властью, обеспечить которую может только наука. Систематическое сравнение этих двух видов деятельности уведет нас от повторения устоявшихся клише и позволит создать разностороннее описание посредством различения научных объектов от правовых. Возможно, ту знаменитую добродетель — объективность, в поисках которой антропологи науки так долго тщетно блуждали по лабораториям, они отыщут в Государственном совете.

Государственный совет не является публичным местом, но во время заседаний суда публика туда всё-таки допускается, однако только на определенные места и в определенное время. Приставы и секретари следят за сохранением неуправляемого разграничения между теми местами, которые доступны публике, и теми (существенно более многочисленными), которые резервируются для работы советников (*conseillers*), для их контор и для абсолютно секретного процесса совещания. Здесь, в *Ecole de Physique-Chimie*, нет такой территории, которая была бы по-настоящему публичным местом, но если вы получите допуск нейробиолога, то запретной территории для вас не будет². В каждом здании пространство распределяется совершенно по-особому: кто угодно может посещать слушания Совета, но лишь в определенное время, располагаясь в определенных креслах и в пределах ограниченных территорий; в остальном, ни один посторонний не может видеть то, как действует закон, — лишь практиканты, правительственные комиссары с соответствующими удостоверениями да какой-нибудь пронырливый этнограф. Лаборатории моего друга Россье обычно открыты только для научного персонала, но если посетитель имеет особую санкцию, то для него запретных мест нет. Тогда как присутствие чужака на юридическом совещании искажило бы природу этой

отношения индивида и государства. Сравнение с британским правом см. в Carol Harlow. *La huronne au Palais-Royal* или в *Naive Perspective on Administrative Law* (2000) 27 (2) *Journal of Law and Society* 322 и в вышедшей гораздо раньше монографии, посвященной этому вопросу, Charles E. Freedman, *The Conseil d'Etat in Modern France* (Columbia University Press. New York, 1961).

² См.: Adi Ophir, Steven Shapin *et al.* *The Place of Knowledge: The Spatial Setting and its Relation to the Production of Knowledge* (1991) 4 (1) *Science in Context* 3.

деятельности и сделало бы судебное разбирательство недействительным в силу нарушения процедуры, посетитель лаборатории мог бы своим присутствием вмешаться в ход работы исследователей, но это не оказало бы влияния на природу их работы, например, с мозгом белой мыши, в который они ввели тонкие стеклянные трубочки. Таким образом, в двух упомянутых лабораториях публичное и частное соотносятся принципиально разными способами: несмотря на то что «незнание закона не освобождает от ответственности», последние две стадии его свершения остаются в полном секрете; напротив, несмотря на то что двери лаборатории закрыты для всех, кто не является её сотрудником, в принципе, на самом деле, любой мог бы понять все, что происходит внутри, так как оно не является чем-то таинственным: «Нам нечего скрывать».

Проведя много месяцев в Совете, мы находим этологию наших друзей в научных лабораториях довольно-таки удивительной. Здесь никто не носит форменной одежды, не говорит серьезным тоном, не расхаживает торжественной поступью, не использует изящных речевых оборотов и не ведет утончённых дискуссий. Вместо этого здесь можно обнаружить разговоры на повышенных тонах, непристойные шутки, повседневный «американский» стиль одежды, а временами — вспышки ярости или, к примеру, гневные тирады в адрес осциллографов, высвечивающих свои кривые не так как следует, в адрес гильотинных ножниц, являющихся слишком тупыми для того, чтобы ими можно было отрезать головы лабораторных крыс, в адрес микропипеток, насечки на которых не позволяют должным образом изучать находящийся под микроскопом нейрон, или в адрес какого-нибудь особенно тупоумного критика. Если в Совете из уст сладкоголовых советников речь льётся непринуждённо, то здесь она прерывистая, неуверенная, запинаящаяся и иногда становящаяся совсем невнятной. Это не значит, что посетители не в состоянии понять смысл сказанного в лаборатории, скорее это означает то, что здесь вместо слов могут использоваться жесты, что во многих моментах своего дискурса исследователи ничего не говорят, а просто тычут пальцем в то явление, которое было обнаружено их приборами, явление, которое показывает себя им с большой неохотой, поскольку это зависит от того, хорошо ли виден отдельно взятый нейрон, а значит от профессиональных и технических навыков исследователей, которые часто дают осечку и постоянно сталкиваются с препятствиями вроде закупорившихся пипеток, недоступных нейронов и невразумительных результатов. Если слова советников звучат подобно изречениям из книг — ведь они опираются на текст из Лебона и от него переходят к тексту своего приговора (*arrêt*), а после этого к текстам меморандумов и отзывов (что соответствует порядку, в котором документы дела группируются в досье), при этом постоянно

оставаясь в мире текстов, то речь лабораторных исследователей представляет собой прыжок через глубокую пропасть, отделяющую пульсирующий под стеклом микропипетки крысиный нейрон от произносимых в его отношении человеческих фраз³. Ничего удивительного, что они часто вынуждены колебаться, начинать заново, замирать в ожидании, молчать по несколько минут или нарушать размеренность своей речи восклицаниями вроде «Есть!», «Вот оно!», «Упустил!» или «Какая глупость!»

Однородность или неоднородность между текстами и вещами означает тот контраст, который мог бы поразить даже самого невнимательного посетителя. Вы могли бы проделать путь от подвалов Пале-Рояля, где в спячке лежат километры архивов, до мансард, где расположились офисы правительственных комиссаров (*commissaire du gouvernement*) и документационной службы, не найдя сколько-нибудь существенного различия между предметами, с которыми работают разные подразделения Совета; папки, снова папки, ничего кроме папок; сюда же стоит добавить серванты, столы и стулья (которые различаются в цене соответственно рангу конкретного служащего), книги в разных количествах и, наконец, последнее (по порядку, но не по значимости) — многочисленные резинки, бумажные скрепки, скоросшиватели и печати. Все эти приспособления, за исключением телефонов и степлеров, теснейшим образом привязаны к текстовому контенту, в то время как компьютерная база данных, позволяющая онлайн просматривать судебно-административные приговоры, не может рассматриваться в качестве инструмента. В лаборатории же ни одна комната не похожа на другую дифференциация пространства основана на таком размещении в нем машин, которое позволяет в рамках одного эксперимента скоординировать профессиональные навыки экспертов в области психологии, нейропсихологии, молекулярной биологии, химии пептидов, рентгенологии и биоинформатике.

Когда советники вступают в дебаты, они все похожи друг на друга и отличаются только большим или меньшим опытом в судебно-административной сфере: ни один голос не имеет большего веса, чем остальные (если не брать во внимание тонких различий в степени авторитетности). Когда собираются экспериментаторы, каждый из них может быть совершенно некомпетентным.

- 3 Лебон представляет собой ежегодную подборку наиболее важных решений Совета. Англоговорящие читатели должны принять к сведению, что французская система административного права основана, подобно неписанному закону, на прецеденте и полностью отлична от правовой системы, основанной на нормативном акте. Последняя действует во Франции в частной и уголовной сферах и называется *le judiciaire*. Так же как во многих странах, переживших вторжение Наполеона, во Франции имеются две совершенно разные, действующие параллельно ветви права. Англии в этом отношении не повезло, хотя судебные лорды отчасти выполняют ту же функцию, что и Совет во Франции.

тентен в сфере исследований своего соседа (пусть они и проработали вместе долгие годы), не знать, какие там поставлены проблемы и какие используются приборы, но он точно знает, какие его собственные находки могут быть использованы его коллегой и какого доверия будут заслуживать данные, аналогичным образом полученные от кого-то из других экспериментаторов. Если советники по определению судят те дела, с которыми они ознакомились впервые и о которых не имеют никакого изначального представления, не используя при этом иных инструментов, кроме собственной памяти и небольшого количества записей, то каждый исследователь занимается лишь той частью крысиного «дела», с которой, благодаря своим приборам, годами усвоенной дисциплине и профессиональным знаниям, позволяющим получать узкоспециальные данные, он знаком в совершенстве.

Таким образом, сущность Совета зависит не от оборудования, а от однородности мира файлов, которые хранятся, упорядочиваются и используются, и от однородности персонала, который содержится, обновляется и дисциплинируется. Совет может справляться с большим потоком судебных дел потому, что все советники в значительной степени взаимозаменяемы и потому, что имеет место весьма ограниченное разделение труда⁴. Сущность лаборатории же решающим образом зависит от неоднородности оборудования, от его быстрых обновлений и от того, чтобы эксперты в разных областях были собраны в одном месте. Если опись предметов мебели и файлов, хранимых в стенах Совета, не предполагает объяснения того, каковы функции всех этих вещей, то опись лаборатории с её оборудованием, включающая указание его срока службы и стоимости, размещение в пространстве, его чувствительности, требуемой для обращения с ними квалификации, позволяет узнать о данном месте практически все: «Скажи мне, какие у тебя приборы и специальное оборудование, и я скажу тебе, где твое место в научной иерархии». К такому же сопоставлению приведет наблюдение, что стоимость Совета очень велика, если учитывать его интеллектуальные ресурсы, но практически равна нулю, если принимать в расчет только оборудование (не считая бумаг); лаборатория же стоит очень дорого за счет своих «мозгов», но еще больше — за счет оборудования и программного обеспечения. Если бы какие-нибудь новые коммунары еще раз сравняли с землей Пале-Рояль, но оставили советникам полное собрание Лебона, на следующий день можно было бы продолжить судебные разбирательства точно так же, как они велись до этого. Если бы толпа выгнала Рос-

4 Одна из особенностей французских судей в сфере административного права состоит в том, что они разрываются между бизнесом, администрированием, выборными функциями и своей работой в Совете. Таким образом, в каждый момент времени примерно половина членов Совета отсутствуют.

сье из его лаборатории и разграбила его оборудование, он вообще не смог бы сказать ничего конкретного о крысиных мозгах.

Теперь уделим более пристальное внимание тому, как обитатели каждого из этих двух мест физически размещаются относительно друг друга. Чаще всего лабораторных исследователей можно найти образовавшими концентрический круг вокруг стола для эксперимента, в центре которого конкретное явление, подлежащее некоего рода проверке или испытанию (в данном случае электрической стимуляции, за счет которой высвобожденные отдельным нейроном нейромедиаторы окажутся на другом конце аксона)⁵. И они, не прекращая говорить — на несколько загадочном языке — о той неясной сущности, которую им удалось заставить весьма неразборчиво говорить или, по крайней мере, демонстрировать посредством осцилляций или продуктов химических реакций то, какого она сама мнения о проверке, которой подвергается. Они напоминают кучку азартных игроков, столпившихся вокруг дерущихся петухов, на которых каждый из них поставил свою судьбу; они, может быть, и не вопят как сумасшедшие, но не возникает сомнений, что они страстно увлечены судьбой своего нейрона и тем, что он, возможно, собирается рассказать. С другой стороны, нет понятия, хуже подходящего для описания манеры держаться, свойственной судьям в ходе слушания, чем «страсть». Здесь нет *libido sciendi*. Ни одно слово не произносится громче других. Откинувшись в своих креслах, сохраняя внимание или как бы уснув, проявляя интерес или оставаясь безразличными, судьи всегда сохраняют *дистанцию*. Единственный кто при этом страдает, так это истец. Хотя он, как правило (но не всегда), присутствует на процессе, из сказанного по поводу его дела он понимает не больше, чем крыса из постоянно делаемых замечаний о структуре ее мозга. Так или иначе, волнения истца — последнее, что представляет интерес в ходе рассмотрения дела: они ничего не стоят, точнее, уже ничего не стоят, или еще ничего не стоят. Если судьи, находясь в зале суда, совершенно равнодушны к делу, которое волнует лишь истца, то объектам, изучаемым в лаборатории, никогда не понять, почему их судей столь страстно интересует в них то, к чему они сами полностью индифферентны. Одно можно сказать наверняка: *libido judicandi* — вещь очень специфическая.

Отмеченное различие обнаруживается даже в манере написания текстов (ученые тоже посвящают этому занятию немало времени, хотя и меньше, чем советники). Как нам очень хорошо известно, приборы, оборудование, химические реагенты или животные не являются конечными продуктами лаборатор-

5 Michael Lynch. Sacrifice and the Transformation of the Animal Body into a Scientific Object: Laboratory Culture and Ritual Practice in Neuroscience (1988) 18 *Social Studies of Science* 265.

ной деятельности. Исследовательская команда, способная проводить исследования на высочайшем уровне, но никогда не писавшая научных статей, вскоре потеряла бы свою репутацию, если бы только она не отказалась от фундаментальных исследований в пользу развития прикладных технологий. С точки зрения производства письменной продукции, научный институт сходен с Государственным советом: в обоих случаях можно провести статистический учет количества страниц, производимого каждым членом института, и даже количества цитирований соответствующих работ. Впрочем, это сходство улетучивается, стоит лишь обратить внимание на характер научных статей, которые совсем не похожи на законодательные приговоры. Исследователи пишут скорее не приговоры, а истории с продолжением; в действительности, если говорить в терминах права, они пишут *заявления* и выступают скорее истцами, нежели судьями. То есть каждая научная статья функционирует как судебное решение относительно заявлений, поданных коллегами автора, или как жалоба, изъясляемая в адрес тех же самых коллег от лица того явления, существование которого утверждается в статье. Иными словами, оппоненты, которым адресована научная статья, не являются настоящими судьями, потому что они: (а) относятся к той же профессиональной категории, что и автор; (б) не могут положить конец дискуссии; (с) сами судимы (иногда очень сурово) истцом, с которым (d) имеют равные права на то, чтобы продолжить дискуссию, начать ее заново или закрыть. Каковы бы ни были механизмы, приводящие научные разногласия к разрешению, они с необходимостью сильно отличны от тех, которые созданы в Совете для закрытия дел⁶.

Может показаться неожиданным, что язык научных статей является куда более пылким, чем язык судебно-административных текстов. Так происходит потому, что их авторы раздувают свои заявления настолько, насколько это возможно, вынося на обсуждение сразу все темы, чтобы встретить все возможные возражения путём игнорирования некоторых из них или выделения тех возражений, которые помогут им сделать акцент на конкретном эксперименте или результате. Вся эта страсть, энергия, все эти риторические изыски, благодаря которым даже самая теоретическая или эзотерическая из научных статей смотрится красивее, чем иная опера, исключены из приговоров Совета. Авторы последних должны приводить ссылки на все относящиеся к делу тексты (представьте себе исследователя, обязанного цитировать каждый из использованных им источников), отвечать на все приведенные доводы (представьте себе исследователя, которого принудили не избегать ни одного из возражений

6 Sheila Jasanoff. What Judges Should Know About the Sociology of Science (1992) 32 *Jurimetrics Journal* 345.

его критиков) и ни на какие другие (представьте себе, в какой ужас пришел бы ученый, если бы его попросили рассматривать только те вопросы, которые ему задают другие, а не сотни вопросов, которые он задает сам себе), добавлять настолько мало нового знания к тому, что было получено предшественниками, насколько это возможно (все авторы научных работ мечтают устроить революцию в науке), и делать все перечисленное так, чтобы закрыть дискуссию раз и навсегда (тогда как исследователи мечтают только о возобновлении дискуссии, а если и пытаются прийти к заключению, то к такому, чтобы оно было выгодным для них и сформулированным на их языке)⁷. Дело в том, что исследователь пишет для других исследователей, чьим невидимым, но неизбежным присутствием пронизано все, что он пишет, тогда как судья (прежде всего если он работает в суде последней инстанции) пишет только для адвоката истца и лишь во вторую очередь для своих коллег и для составителей правовой доктрины. У того и у другого разные адресаты.

Разумеется, случаются ситуации, когда наука принимает вид судилища. Одним из примеров могут служить знаменитые Комиссии Академии наук, которые были учреждены в XIX веке, чтобы разрешать (от лица ученых) споры между особенно вспыльчивыми исследователями, неспособным достичь решения общепринятыми способами (кроме разве что дуэли!). Сегодня у нас есть жюри, публичные собрания или телевизионные дебаты, где один исследователь в области генотерапии выступает против другого в присутствии аудитории, которая должна решить, кто из них прав⁸. Кроме того, имеются обширные области, в которых ученые выступают в роли экспертов, появляются перед судьями, чтобы свидетельствовать по вопросам, доступным их экспертизе (безумие подзащитного, происхождение ДНК, найденного на месте преступления, обоснованность заявки на патент, риск, связанный с использованием определенного средства, и т. д.). Но каждая из этих ситуаций имеет в первую очередь правовой характер, а не научный. В XIX веке Академия могла выносить квазиприговоры в отношении ученых лишь потому, что ее авторитет был сравним с авторитетом закона, и потому, что даже при этом ее решения были лишь *квазирешениями*, которые никого ни к чему не обязывали и не могли гарантировать, что спор не всплывет заново где-то еще, на других собраниях или в других лабораториях. В науке нет такой вещи, как орган, выносящий окончательные решения (*res judicata*)⁹. С другой стороны, когда экс-

7 Greg Myers. *Writing Biology: Texts and the Social Construction of Scientific Knowledge* (University of Wisconsin Press, 1990).

8 Sheila Jasanoff. *Science at the Bar: Law, Science and Technology in America* (Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995).

9 «Разрешённое дело» (*лат.*) — положение римского права о том, что окончатель-

перт свидетельствует в суде, судьи принимают все необходимые предосторожности, чтобы быть уверенными, что он не узурпирует роль судьи, что все сказанное им не является ни судебным решением, ни предписанием к такому решению, а лишь имеет форму свидетельского показания¹⁰. Эти пограничные ситуации ясно дают понять, что два эти вида деятельности, два способа написания текстов столь же различны, как масло и вода, оставаясь разделенными, как бы упорно их ни смешивали.

Как же следует назвать кучку людей в белых халатах, с волнением собравшихся вокруг стола для проведения испытаний, которым они подвергли какое-нибудь новое нечто (в данном случае изолированный нейрон, выставленный на обозрение подобно отдельному индивиду), и которые позволят им при помощи целого ряда неуверенных наблюдений, изложенных в цветастых, но отрывочных и предвзятых текстах, публикуемых настолько быстро, насколько возможно, выдвинуть заявления, которые будут яростно отстаиваться и в то же время постановлять, что заявления, опубликованные ранее теми же исследователями или их коллегами, несостоятельны, невразумительны, ложны, необоснованы или просто банальны и неинтересны? А если учесть, что все это к тому же происходит в такой сфере (лаборатория, дисциплина, литература), которая ревностно охраняется и все-таки открыта для всех и на чьи границы может посягнуть любой посторонний? Являются ли эти люди судьями, выносящими решения относительно заявлений других судей? Такое было бы нелепо. Может быть, они — своего рода банда или мафия? Научная деятельность порой подозрительно напоминает работу этих организаций, особенно смещением крайней строгости и полного беззакония. Но ответом снова будет «нет», потому что в спорах есть третья сторона — судья, который определяет содержание темы, хотя он и нем, которому все остальные стороны подчиняются без обсуждения (находясь при этом в постоянном обсуждении!) и следы которого можно найти в архаичных правовых практиках ордалий и божественного суда — а именно сам объект, который подвергли испытанию, чтобы услышать от него нечто о том, что уже о нем было сказано, нечто одновременно невнятное и имеющее решающую силу. Эту знаменитую *aita, res, causa, thing, chose* или вещь в европейских языках история науки позаимствовала из мира права¹¹. Чтобы понять ту крайне специфическую форму изложения, с которой можно столкнуться в сердце

ное решение суда является обязательным для сторон спора и не подлежит пересмотру. — *Прим. перев.*

10 Это знаменитое дело Даубера (*Daubert*); см.: <http://laws.findlaw.com/us/509/579.html>

11 Yan Thomas. *Res, chose et patrimoine* (note sur le rapport sujet-objet en droit romain) (1980) 25 *Archives de philosophie du droit* 413.

лаборатории, необходимо обратиться к истории допросов, к пыткам, к тонкому искусству инквизиции; т. е., к тем самым практикам, которые современным законом рассматриваются как позорные и архаичные, которых он стыдится, как своего прошлого, гордясь одновременно тем, что они в прошлом.

«У нас есть средства заставить тебя говорить», — произнес бы, возможно, физиолог, выдав тем самым садистские наклонности, отражающиеся даже в самом невинном эксперименте. Но слово *средства (moyens)*¹² не имеет здесь того значения, которое оно имеет в законодательстве, ведь нейрон, подвергнутый распросам, не жалуется, а процедуры, которым он подвергается, никто не рассматривает как правонарушения (за исключением борцов за права животных, считающих лабораторные эксперименты такими же жестокими, как древние ордалии, и заслуживающими решительного судебного преследования). Подвергаемый ордалии не человек (например, крыса, нейрон, ДНК или нейропептид) занимает одновременно позицию судьи в последней инстанции (ведь он выносит заключение по поводу сказанного о нем) и жалобщика (ведь его представляет посредник — страстный ученый, взявшийся за его дело и пополняющий научную литературу одной статьей за другой, добиваясь перед состоящим из его коллег судебским трибуналом признания как своего права существования, так и аналогичного права своей вещи (*chose*), своего объекта (*cause*) с его особой каузальностью). Его коллеги никогда не вынесут окончательного решения, пока не будут поставлены перед неоспоримой (но всегда оспариваемой) очевидностью фактического положения дел (*matters of fact*), которое само по себе говорит ясно, только если ученые открыли более или менее широкой публике те его особенности, которые они сообща согласились принимать за окончательно установленные.

Стоит заметить, что невозможно, описав, как даже в самом банальном эксперименте осуществляется научная ордалия истины, и далее опираться на господствующую идею о том, что науки чисты, объективны, беспристрастны, дистанцированы, холодны и самоуверенны. Также невозможно сделать непосредственное сравнение науки и закона, не описав предварительно те черты каждого из этой пары, которые выглядят заимствованными у другого. В обеих этих сферах деятельности можно найти речь, факты, суд, специалистов, письмо, формулы, все виды записи и архивов, справочники, диспуты и коллег. Однако место всех этих вещей в науке и законодательстве одновременно слишком различно, чтобы рассматривать их функцию как одинаковую в обоих случаях, и слишком схоже, чтобы говорить о полном раз-

12 Словом *Moypen* во французском правовом жаргоне называют довод, который может быть изложен перед судом; *moypen* может «цвести», «засохнуть», «разрастись» или «не принести плодов».

личии одного и другого. Чтобы разобраться в этом частичном совпадении, я должен, как всегда, тщательно и осторожно продолжить продвижение вперед в своих изысканиях.

На данный момент самое главное заключается в том, что факты, вопреки старому изречению, не говорят сами за себя; утверждать подобное означало бы не принимать в расчет ученых, их разногласия, их лаборатории, их приборы, их статьи, их прерывистую, неуверенную, иногда с использованием действительных выражений речь, которую можно лишь услышать и увидеть. С другой стороны, нельзя понять ничего из происходящего в физико-химических лабораториях, не обратив внимания на то, что все сказанное людьми в белых халатах постоянно изучается, проверяется, осмысливается и отвергается одновременно вездесущими речами даже самых удаленных из их коллег и теми фактами, центральное значение которых признается всеми и на которые все ученые полагаются как на свой единственный апелляционный суд. Сказать, что ученые попросту достигают между собой соглашения по поводу того, что говорят обсуждаемые ими вещи, означало бы не понять ничего в природе той особой силы, которой обладает их деятельность, и еще меньше — в природе мотивирующей их страсти. В-третьих, речь, циркулирующая в лаборатории между учеными, их коллегами и объектами, речь, по отношению к которой каждый — одновременно ее судья и участник, речь звучащая и немая, слышимая и неслышная, начинающаяся и заканчивающаяся не только имеет форму судебного процесса или слушания по делу; она также имеет глубинную связь с вопросом о том, что вещи собой представляют, или, скорее, как они реагируют на уже выдвинутые заявления.

Высказывания трансформируются в «судебное дело», которое может быть решено с помощью особого взаимодействия разных дисциплин. «Если эксперимент поставлен должным образом, — говорит исследователь *A*, — у нас должно получиться заставить объект *B* трансформировать опубликованное заявление *C* в носитель информации *D*, что либо увеличит достоверность, либо приведет к еще большим сомнениям, по крайней мере со стороны представляющих дисциплину *E* (согласно нашему определению) коллег, которым мы адресовали статью *F*». В заключение следует заметить, что такое вторжение приведет к дальнейшему увеличению документов и заявлений, продолжит кривую роста приведет к появлению критерия, в соответствии с которым вся процедура будет признана правомерной или не будет. Страстные ученые, настолько осветив и воспевав в статьях свой объект, насколько было возможно, оставляют суду истории, т. е. ученым будущего, решать, были они правы в тех или иных допущениях или нет. Как это ни странно, но мы видим, что судьи — настоящие судьи — не могут слепо довериться этому последнему суду

истории. Какие бы промедления и задержки они себе ни позволяли, у них просто нет времени, когда они могли бы позволить другим решать за них.

Как достичь отстраненности

*Научные
объекты
и правовая
объективность*

Вернемся теперь на правый берег, пересечем внутренний двор Лувра и возвратимся в Пале-Рояль с его золотым орнаментом и мрамором, его грандиозной лестничной клеткой, с историческими полотнами и республиканскими фресками. После своего пребывания в лаборатории этнограф чувствует теперь одно-временно облегчение и сильную неловкость. Среди людей в белых халатах он стоял, беспомощно опустив руки, совершенно не зная, куда себя девать, вынужденный принимать самые неудобные позы, чтобы сделать запись, столь же далекий от исследователей, которых он изучал, как они — от своих обезглавленных крыс. И все же он по крайней мере мог поговорить со своими учеными коллегами, с которыми он разделял тягу к познанию; время от времени он мог попросить пояснений, даже предложить гипотезу; его бормотание едва ли смотрелось неуместным в хоре запинок, повторений, восклицаний и удивленных вздохов, которые служили аккомпанементом на этом спектакле доказательства и демонстрации. Он тоже мог указать на изучаемое явление пальцем, облекая его хрупкой паутиной метафор, аллюзий и упрощений. Он был, конечно же, неуклюж и некомпетентен. Но, согласившись остаться на какое-то время в стороне, чтобы дать ему понаблюдать за представлением, которое они ставили и которое они описывали, его коллеги-исследователи дали ему возможность разделить их страсть, а временами даже подхватывали его собственные ложные, наивные или плохо сформулированные идеи, потому что перед лицом явления, проходящего допрос, даже ребенок может подобрать удачные слова. Возвратившись в Совет, исследователь занимает свое незаметное место, не нарушая единства судебного зала; он сидит и пишет за столом среди людей, которые сели за тот же стол, чтобы писать. И все же назвать его их коллегой можно не в большей степени, чем их собутыльником. Мало того что они не разделяют его *libido sciendi*: даже самый увлеченный наблюдатель должен оставаться немым как рыба, будучи неспособным изрекать изящно выстроенных фраз, правомерных решений или правдоподобных гипотез. Он, конечно, мог бы пробормотать что-нибудь невнятное, но в том-то и все дело, что судьи не бормочут: в тот самый момент, когда он открыл бы рот, стало бы очевидно, что он не член этой группы.

Мы оставили позади милый бардак лаборатории с ее скомканными журналами, коробками с образцами, трубочками для по-

дачи жидкости, урчащими центрифугами, корзинами для мусора, повышенными голосами и всеобщим беспокойством, которое предшествует проведению важного эксперимента, сопутствует ему и сохраняется после его завершения. Вообще говоря, в Совете тоже можно найти кое-какой беспорядок, но его место строго ограничено пространством заваленных грудями файлов столов, из-за которых едва выглядывают головы официально, но элегантно одетых советников. Так или иначе, этот беспорядок имеет лишь временный характер, потому что внутри каждого файла царит идеальный порядок, предписанный планом следствия (*plan d'instruction*), который требует, чтобы каждый параграф был расположен, озаглавлен и заверен в соответствии со строго определенным алгоритмом, любое отклонение от которого сделает весь процесс недействительным. Впечатление беспорядка возникает только из-за того, что многие дела находятся еще на рассмотрении или, если содержимое файла высыпано наружу, из-за избытка относящихся к делу законодательных текстов, из-за большого числа технических приложений, общего веса документации или интенсивного обмена репликами, породившего большое количество новых записей. Но как только все документы дела (*dossier*) возвращаются в свою папку, как только дело закрыто, немедленно возвращается порядок; именно такова манера советников и юристов обращаться с вещами. Как только дело закрыто, они больше и не думают о нем вспоминать; они переходят к новому делу, к новому файлу. Судебное дело — это нечто такое, что можно открыть и закрыть, подобно папке для досье.

Вы могли бы возразить, что и в лаборатории беспорядок является скорее видимостью, чем действительностью, ведь каждый объект, каждый прибор или эксперимент контролируется с помощью соответствующего документа, так называемого лабораторного журнала, который куда строже любого плана следствия. Это своего рода отчетность по научной деятельности в лаборатории. Исследователи записывают в журнал то, что они собираются делать, какие приблизительно результаты они получили и какие предварительные гипотезы из них следуют. Действительно, не так давно в результате участвовавших дел по вопросам мошенничества и патентов этот важный журнал получил квазиправовой статус. Тем не менее есть огромная разница между этими двумя видами учета, ведь деятельность исследователей не содержится в лабораторном журнале в том виде, в каком в досье дословно, почти физически *содержится* разбираемое Советом дело. Лабораторию никогда не удалось бы описать с помощью такого точного, определенного, выверенного и однородного набора параметров, каким являются номер, тип и местоположение файлов Совета. Здесь ни одно заявление не войдет в круглую, отполированную, закрытую картонную папку, такую транспортбель-

ную, содержащую все, что нужно, и образующую целый отдельный мирок, рамками которого судья обязан ограничиваться под страхом наказания. Работа в лаборатории во всех отношениях выходит за границы лабораторного журнала, она зависит от будущих действий коллег, от прогресса технологии, от сложных интертекстуальных взаимосвязей, образуемых за счет сносок и цитат, от промышленного производства и реакции публики. Только трюкачи-наукометристы умудрились описать лабораторию в более или менее когерентных и унифицированных терминах¹³. И наоборот, в самом по себе досье, в том, как его закрывают, должно быть что-то такое, что составляет суть отличия закона от науки.

Чтобы понять это отличие, необходимо взглянуть на досье в контексте отношения к нему тех членов Совета, которые анализируют, пополняют и обсуждают его. Первое, что немедленно поражает пришедшего из лаборатории этнографа, это *безразличие*, с которым советники относятся к лежащим перед ним документам. В лаборатории Россье написание текста всегда было крайне волнительным моментом; переписывая статьи, перед тем как их опубликовать, исследователи устраивали жаркие споры по поводу того, что можно, а что нельзя говорить, как далеко можно зайти, не заходя слишком далеко, о чем стоит умолчать из тактических или политических соображений. Они больше походили на адвокатов, ведущих дело от лица своих клиентов, чем на судей, составляющих приговоры. Напротив, советники, как правило, безразличны к своим досье, это безразличие подчеркивается гримасами на лицах, зевками, забывчивостью, целой *hexis*¹⁴ незаинтересованности, которая так остро контрастирует с обязательством ученых быть целиком, глубоко и страстно вовлеченными в свои наблюдения за фактами. Для ученого, как и для священника, необходимо всем своим видом демонстрировать глубокую и искреннюю верность всему, что он говорит, верность, от которой он сможет отказаться, только если к тому его вынудит кто-то из его коллег или какой-нибудь факт (в данном случае это явления более или менее одного порядка). С другой стороны, для советника принципиально важно посредством невербальных знаков показать, что он совершенно безразличен к доводам, которые он приводит. «Если вы не признаете моих доводов, вы признаете заявление», — мог бы произнести судья с олимпийским спокойствием, а всего через несколько минут перейти к рассуждениям, диаметрально противоположным изначальным. Наблюдение, сделанное одним из советников по поводу своего коллеги, в прошлом физика, удачно раскрывает это

13 См.: Michel Callon, Jean-Pierre Courtial *et al.* *La scientom'etrie* (PUF Paris, 1993). No. 2727.

14 Навык, опытность, сноровка (*греч.*). — *Прим. перев.*

различие: «Как истинный ученый, он слишком твердо держится своего решения, чего не скажешь обо мне». В глазах этого советника демонстрируемое его коллегой *libido sciendi* было совершенно не совместимым с работой судьи.

В ходе судебных процедур Государственного совета можно обнаружить, особенно на фоне вовлеченности ученых, множество микропроцедур, которые позволяют достичь отстраненности и уберігают от сомнений.

Докладчик

Когда во время следственного заседания (*séance d'instruction*) докладчика (*rapporteur*) попросят заново зачитать его записи, он не будет их помнить, ведь прошло несколько месяцев с тех пор, как он изучил досье¹⁵. Вообразите, в какое замешательство придет ученый, если его попросят представить исследовательский отчет, который он написал шесть месяцев или год назад, который с тех пор не перечитывал и содержание которого полностью забыл. Что было бы еще поразительнее, так это то, если бы в процессе изначального изучения дела докладчик подготовил два эскиза постановления (*projets de jugement*) — один в пользу отклонения ходатайства, другой аннулирующий первый на случай, если коллеги не примут его рассуждений. Таким образом, он не просто ничего не помнил бы о деле, но еще и отправлялся на слушание, подготовившись к одному его ходу — и к противоположному. Для ученого это было бы скандалом; как если бы он в последний момент в свете реакции коллег на его выступление решал, имело место описанное им явление или нет; это означало бы подготовку двух статей, двух афиш, двух презентаций, по одной в пользу его существования и по одной — против. Хуже того когда дискуссия окончена, председатель собрания мог бы попросить докладчика подготовить третий проект. И не думая обижаться и расценивать это как предательство, докладчик любезно взялся бы за работу, немедленно приступив к написанию проекта постановления, которое могло бы быть даже прямо противоположным тому, в пользу которого он выступил сам. Ученый убил бы себя об стену, если бы от него потребовали написать статью, противоречащую его собственным убеждениям, на основании того, что коллеги из его исследовательской команды пришли к консенсусу, противоречащему этим убеждениям. Он настаивал бы на том, чтобы именно его непопулярное мнение было представлено в итоговом отчете, и ушел бы, хлопнув дверью,

15 Следственное заседание предшествует судебному совещанию; строго говоря, это репетиция доводов, перед тем как дело будет представлено на всеобщее рассмотрение.

если бы его не послушали. В любом случае для него это было бы делом совести. Это говорит не о том, что у судей нет совести, а лишь о том, что они оставляют ее угрызения за стенами суда.

Мы не пытаемся утверждать, что судьи ко всему безразличны, утратили вкус к жизни или устали от дел, которыми занимаются, или что их отстраненность сродни автоматизму. Совсем наоборот: у них огромное количество интересов, иначе ни один из них не задержался бы в Совете больше чем на пару недель. Существует юридическая сложность дела самого по себе, устройство административного права, социальная, политическая, экономическая и государственная подоплека дела, специфичность конкретного истца, шкала несправедливостей, с которыми приходится иметь дело, престиж государства (*Etat*), интеллектуальное наслаждение, получаемое, когда из запутанного дела удается извлечь простые доводы, наслаждение от того, чтобы выделиться на фоне коллег своим интеллектуальным уровнем, не говоря уже о господствующей атмосфере джентльменского клуба, где подготавливаются будущие карьерные перспективы и заглаживаются прошлые ошибки. У них много источников интереса, но они прилагают все усилия, чтобы убедиться, что эти источники не приложены к досье, к характеристикам выразителей общественного мнения или к принятому решению так, как это бывает в повседневной жизни; их держат в стороне от рассматриваемых вопросов, от объекта, дистанция до которого в результате стремится к бесконечности. Сказанное предоставляет наилучшую возможность измерить бездну, отделяющую закон от науки. Если в лаборатории прилагаются все усилия, чтобы связать частные особенности рассматриваемого объекта с тем, что о нем говорится, то в Совете, наоборот, делается все возможное, чтобы окончательное решение было абсолютно дистанцировано от частных особенностей дела.

Слушатель

Нигде контраст не проявляется более явно, чем на стадии процесса, когда слушатель (*réviseur*) заново представляет заметки докладчика по поводу разбираемого дела. С точки зрения учебного, эта процедура совершенно абсурдна. Потратив всего полчаса, слушая кого-то, читающего монотонным голосом текст, где объясняется суть всего дела, слушатель (он занимает в иерархии Совета более высокую ступень) принимается за пересказ истории с самого начала, на этот раз в устной форме. Тем не менее повторное прослушивание (*révision*) является существенным моментом судебного процесса, потому что слушатель — это единственный, кто день или два назад перечитал досье и кто держит в голове все детали дела. Никто из остальных участников не зна-

ком с делом и никто из них не будет читать досье снова, за исключением комиссара (*commissaire*) (см. ниже), который впоследствии ознакомится с делом впервые. Это еще одна процедура, которая в науке показалась бы неуместной; чем дальше продвигается дело, чем больше оно затягивается или поднимается наверх по судебным инстанциям, тем чаще оно попадает к людям, которые дистанцированы от дела и ничего о нем не знают. Это как если бы ученый, который, чтобы выдвинуть новое заявление по поводу вызвавшего разногласия открытия, обращался за советом к людям, все менее и менее компетентным в специфических аспектах предмета или как если бы для решения сложного вопроса, к примеру, касающегося невидимых галактик, необходимо было спрашивать людей, отобранных как раз потому, что они вообще ничего не знают о галактиках, и эти люди отвечали бы на вопрос, не основываясь ни на какой другой информации, кроме отчета о проблеме, предоставленного людьми, более компетентными, чем они сами.

Но конечно же, процедура повторного прослушивания не является ни причудливой, ни такой уж нелепой. Важно понимать, что вовсе не информация является предметом всеобщего внимания, судьи не устанавливают частных деталей дела, повторное изложение слушателя — это больше, чем простой пересказ. Под видом простого пересказа слушатель существенным образом преобразует дело, изменяя относительные пропорции его фактической и правовой сторон; в его изложении сугубо правовые вопросы акцентируются сильнее, чем в изначальном послании. Частности данного дела менее важны, чем то, под какой пункт закона оно подпадает или какие изменения в административном праве оно вызвало. Таким образом, слушатель меньше говорит о фактах (т. е., меньше, чем докладчик, который в свою очередь говорит о них меньше, чем адвокат, который — меньше, чем истец, который, конечно, говорит *главным образом* о фактах) и больше — о законе. Когда решение будет вынесено, не останется ничего, кроме знаменитого *зеленого бланка*, в котором все дело суммируется в одном предложении, например: «Если орган префектуры отказывается признать аннулирование лицензии на разработку карьера, которое было осуществлено в соответствии со ст. 106 Горного кодекса, может ли данное предписание быть пересмотрено на основании того, что оно *ultra vires?*»¹⁶. От конкретного дела, подробные факты которого можно обнаружить, лишь отыскав его в компьютерной базе данных, не остается ничего. Не существует дорожки, ведущей от *зеленого бланка* к детальной картине дела, и все-таки для судей, которым адресовано это лаконичное предложение, суть пережитого кем-то опыта суммируется в одном предложении.

16 Вне компетенции, за пределами полномочий (лат.). — Прим. перев.

Возможно, слово *факт*, используемое одновременно в науке и праве, ввело нас в заблуждение, когда мы делали свое сравнение, ведь оно столь по-разному используется в двух областях, что кажется, будто речь идет о двух омонимах или «ложных друзьях» (*faux-ami*). Факты в юридическом деле образуют замкнутое множество, которое в результате простого соблюдения пунктов плана вскоре перестает подлежать сомнению и к которому исчезает необходимость возвращаться. Факты — это такие вещи, от которых пытаются как можно скорее избавиться, чтобы перейти к другим вещам, а именно к пунктам закона, которые представляют интерес и которые далее попадут в сферу внимания судей. С другой стороны, в лаборатории факт играет две в чем-то противоположные роли: это одновременно то, о чем говорят, и то, что определяет истинность говоримого о нем. Таким образом, никому никогда не дано по-настоящему избавиться от фактов, чтобы перейти к чему-то более важному. Если, конечно, не путать лабораторные факты, как я их описал, с чувственными данными эмпиризма (основанного Локком и Юмом по соображениям скорее политическим, нежели эпистемологическим), где чувственные данные являются неоспоримой основой нашей чувственности и комбинируются человеческим разумом таким образом, что получают более общие идеи. Но следует заметить, что то понятие факта, с помощью которого проводится данное различие между тем, что подлежит дискуссии, и тем, что ей не подлежит, не имеет ничего общего с тем, какую роль факт играет в речи исследователей. Это понятие позаимствовано скорее из права, чем из науки¹⁷. Чем смешивать два понятия, стоит четче обозначить различие между ними: выражения о том, что факты таковы или что они упрямы, имеет одно значение в области науки и совершенно другое в области права, где факты, хотя они и упрямы, никогда не будут иметь сколько-нибудь реальной власти в таком деле, цельность которого обуславливается применимыми в этом деле правовыми нормами.

И тем не менее не следует полагать, что есть резкое различие между уважением к фактам ученого и акцентируемым юристом безразличием к требованиям истца. В лаборатории отдельные факты также не идут в расчет: крыса, отдающая свой мозг для эксперимента, тем самым жертвует свое тело науке, тело будет без лишнего церемоний сожжено; от отдельного нейрона, прекратившего свою жизнь, избавятся почти таким же способом; так же и исходные данные наблюдений вскоре будут забыты. Явления, подвергаемые экспериментальной проверке, представляют интерес, лишь поскольку они конкретизируют проблему, экзemplифицируют теорию, являются аргументом

17 См.: Mary Poovey. *History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society* (Chicago University Press, Chicago, 1999).

в споре или проверяют гипотезу. Но как это отличается от отправления закона, ведь обе теории отбрасывают материал, чтобы обратиться к тому, что он экземплифицирует? Вся разница в том, что теория, если она хороша, должна быть способна воспроизвести факт задним числом: теория включает все важные аспекты факта, иначе она была бы не теорией этого конкретного факта, а не больше чем необоснованной гипотезой, чистой спекуляцией или просто высказыванием, которое никогда не подвергалось тесту эмпирии. В праве не существует такого обратного пути, в любом случае там он был бы совершенно бессмысленным. Что делает нашего друга Россье таким хорошим нейробиологом, так это то, что с помощью его теории нейронных экспрессий можно проследить путь любого нейрона, который был принесен в жертву во время его экспериментов, или любого другого нейрона, внесенного в его экспериментальный протокол. В праве, как только вы зацепились за пункт закона, вам не нужно больше держаться за факт, который должен появляться, вызывая ваше удивление, в самый неожиданный момент; в науке, если вы беретесь за теорию, вы должны быть способны вернуться к фактам, с которых вы начали, и даже предвосхищать новые факты.

Правительственный комиссар

Существует еще одна микропроцедура, благодаря которой даже самые предвзятые, страстные и пронирливые советники делаются объективными, честными и бесстрастными. Можно ли представить в науке кого-либо наподобие правительственного комиссара (*commissaire du gouvernement*)¹⁸, который лишь делает записи, сохраняя в течение всего следственного заседания полное молчание? Кто этот человек? секретарь собрания? Вряд ли, ведь свои записи он делает только для себя, для того чтобы подготовиться к последующему чтению досье, которое он должен будет изучить от начала до конца. Тогда, быть может, он тот, на кого возложена окончательная экспертиза, тот, кому менее опытные советники доверили поиск правильного решения? Нет, ведь он зачастую моложе, чем председатель собрания, который впоследствии подвергнет его комментарии критическому разбору. Он продолжает молчать, когда все говорят; завтра или спустя несколько дней говорить будет он, а остальные будут молчать¹⁹.

18 В английском слово *commissaire* сбивает с толку еще сильнее, чем во французском. Правительственный комиссар — точная противоположность комиссара, посланного правительством (!), так как первый полностью независим. Слово сохранилось по причине странного правового консерватизма.

19 Одна из особенностей французского административного права состоит в том, что весь процесс является письменным, без единого устного аргумента. Единс-

Но почему тогда не покончить со всем этим сразу и не попросить его высказать свое мнение здесь и сейчас?

По той причине, что хотя цель и состоит в том, чтобы покончить со всем этим, необходимо соблюсти все формальности, еще раз изучить связь между этим конкретным делом и правом в целом, между делом во всей его полноте и правом во всей его полноте. Можно сказать, что правительственному советнику (*conseiller du gouvernement*) доверена особая задача по контролю качества: он прослеживает то, какое направление ход дела получает в результате действий истца, адвокатов, судей первой инстанции, докладчика (*rapporteur*) и слушателя (*reviseur*), а затем приступает к пересмотру всего обширного двухвекового свода административного права, чтобы убедиться, что все должным образом связано воедино. Именно он удостоверяется в том, что все связано и согласовано, благодаря чему его коллеги могут быть уверены, что, добавляя ежедневно к корпусу текстов все новые документы, они никоим образом не искажают административное законодательство. Молчание правительственного советника на протяжении всего следственного заседания, официальное чтение им своего заключения во время судебного слушания (*audience*), снова молчание на стадии совещания (в процессе которого, напомним, судьи не обязаны принимать его рассуждений), затем публикация его заключения отдельно от судебного решения, которое может как отличаться от него, так и нет, — все это функционирует как совокупность механизмов, специально введенных Государственным советом для достижения такого рода отстраненности, которая в науке выглядела бы нелепо, если не смехотворно.

Воспроизвести функции правительственного советника в научной среде означало бы возложить на кого-то из ученых совершенно непосильную обязанность пересматривать всю свою дисциплину от самых ее основ, проверяя ее на предмет согласованности и соответствия фактам, и лишь затем делать официальные заявления о существовании или несуществовании изучаемого феномена. И это при том что окончательное решение выносил бы кто-то другой, а наш ученый вынужден был бы работать в одиночку, полагаясь лишь на собственные знания и на свою совесть и довольствуясь независимыми публикациями своих заключений. Пожалуй, что-то похожее можно найти в практике рецензирования²⁰: написание рецензии поручают опытному ученому, чтобы тот мог ознакомить своих коллег с по-

твенное исключение — выступление комиссара, когда он, стоя, громкого зачитывает послание, называемое его *решением* по той причине, что он не выносит решения. Право — действительно очень странная штука.

²⁰ См.: F. Bastide, M. Callon et al. The Use of Review Articles in the Analysis of a Research Area (1989) 15 / 5 / 6 *Scientometrics*, 535.

ложением дел в дисциплине в целом, однако рецензии лишены той специфической авторитетности в сочетании с отсутствием авторитетности. Если отождествить правительственного комиссара с научным экспертом, это означало бы, что он тот, кто разбирается в вопросе лучше остальных, тот, чей превосходящий авторитет должен освобождать коллег от необходимости сомневаться. Если же предположить, что он не играет роли эксперта, то с какой стати на его плечи кладется тяжелое бремя пересмотра всего дела для прояснения судебного процесса?

Правительственный советник напоминает ученого только тем, что он говорит и публикует от своего собственного имени; и точно так же что-то от правительственного советника есть в каждом ученом, рассматривающим себя как просветителя. Фигура правительственного советника, таким образом, представляет собой причудливый и сложный гибрид: в ней чувствуется что-то от суверенности *lex animata*, закона, воплощенного в отдельном человеке; однако в данном случае только сам данный человек этим законом и связан (тогда как в Древнем мире последнее слово всегда оставалось за правителем). Но зачем же нужен такой закон? В чем его функция? Он дает остальным юристам повод сомневаться, тем самым не позволяя им отделаться на скорую руку найденным решением или легко достигнутым консенсусом. В этом смысле он — это воздухонепроницаемая комната, куда не должна проникнуть достоверность, запрет на избегание соглашения, препятствие, умышленно поставленное на пути судебного разбирательства, песчинка, застрявшая в зубах; иногда он доводит до скандала, но во всех без исключения случаях действует раздражителем и оказывает сопротивление. Правительственный советник — это специфический пример инстанции, призванной производить возражения (*objections*), производя тем самым объективность (*objectivity*).

Важность и неоднозначность его роли становятся ясными в тех делах, где он выступает за аннулирование существующих прецедентов, что является правовым эквивалентом процесса преодоления научной парадигмы, столь воодушевляющего исследователей. Не будучи, в отличие от коллег, связанным необходимостью выносить окончательное решение, он может позволить себе (одним глазом поглядывая на дело, а другим на свод законов) предложить внести в эту огромную структуру, которая, подобно велосипедисту, балансирует на грани превращения в кучу разрозненных текстов, существенные изменения. Именно потому, что у него нет других обязанностей, кроме как служить живым напоминанием о законе, не будучи вместе с тем обязанным выносить самостоятельных решений, он может позволить себе порассуждать о таких смелых или глубоких нововведениях, которые привели бы в ужас советников, ведь последние в своей работе неизменно подчинены конкретике данного дела и несут

на своих плечах всю тяжесть административных реалий. Правительственные советники всегда должны уметь привнести некоторую свежесть, но в любом случае они неизменно выдыхаются спустя несколько лет²¹. Но в отличие от ученого, грезящего о смене парадигмы, о том, что с его именем будут связывать радикальные перемены, научную революцию или большое открытие, правительственный советник неизменно позиционирует свое нововведение как следствие уже существующего принципа, а свод административного права (даже если он в результате полностью изменен) — как ставший еще более аутентичным, чем он был прежде. Подобный подход необходим ввиду важнейшего значения концепции предсказуемости права (*s' securit' e juridique*), которая исследователю показалась бы совсем неуместной. Только представьте, какое воздействие оказала бы концепция научной достоверности на исследование: новые открытия необходимо было бы представлять как более простые и согласованные формулировки ранее установленных принципов; так, чтобы никто и никогда не удивился появлению новых фактов или теорий.

Вынесение решения

Покончим с этим! Хватит! Мы уже знаем достаточно, чтобы вынести решение. Ясно как день, что истец *A* не заслуживает доверия, наркоторговец *B* мерзавец, истец *C* неуравновешенный придира, министр *D* откровенно некомпетентен, постановление *E* клубок противоречий, начальник полиции *F* общественно опасен; так чего еще обсуждать? Факты очевидны до слепоты. Уже прочли предварительное послание докладчика (*rapporteur*), заслушали слушателя (*reviseur*), потратили два часа на следственное заседание, председатель уже посоветовался с главой *Contentieux*, уже прослушали заключение правительственного советника, и что же, это еще не конец? Как только правительственный советник садится на место, совещание возобновляется, на этот раз с новыми участниками, с только что пришедшими людьми, которые ничего не знают о деле, которые не слышали ни ответчика (*rapporteur*), ни слушателя (*reviseur*), которые не слышали предшествовавшего обсуждения и которые опять будут задавать все те же старые наивные вопросы. Разве все это не внушает уныния? Почему бы не передать материалы правительственному советнику и не закрыть дело по-хорошему? Оставим его, наконец, в покое! Сколько можно увливать? И все-таки, колебания и сомнения имеют крайне серьезное значение именно потому, что они не позволяют нам бездумно кинуться в объятия до слепоты очевидных истин. Нудная череда обзо-

21 В Совете из примерно 200 советников комиссарами являются 20 человек.

ров и пересмотров, дотошные сверки бюрократических штампов и очередные повторения все тех же преамбул — все это служит гарантией того, что хромое и незрячее правосудие сумеет пройти по узкой дорожке прямо к единственно правильному решению. Все эти процедуры, обеспечивающие отстраненность, гарантируют, что правовая деятельность осуществляется при всем подобающем сомнении; что же касается лабораторной деятельности, практически вся она имеет своей целью достичь достоверности настолько быстро, насколько возможно. Фемида держит в руке весы не потому, что стремится взвесить все абсолютно точно, а просто потому, что равновесие было нарушено.

Для здравого смысла такая медлительность — что права, что науки — непостижима: к чему создавать столько препятствий судьбе? К чему столько преград для познания? Действительно ли в делах о мусорных баках, голубях, разрешениях на перепланировку или назначениях на должность нужны все эти дистанцирующие процедуры? Нужно ли вкладывать столь большие средства, привлекать лучших и умнейших и тратить годы на дела, для разрешения которых хватило бы толики здравого смысла и добросовестности²²? Нужно ли приносить в жертву сотни крыс, привлекать самых лучших обладателей белых халатов или покупать крайне дорогое оборудование, чтобы узнать, как работает наш мозг или сколько звезд на небе? Какая трата времени! Как же все это медленно! Если бы кто-то взялся критиковать производство сомнения в праве или знания в науке с позиций обыденного здравого смысла, судьбы и ученые немедленно объединились бы в едином порыве прославления неторопливости, внимательности, больших вложений, профессионализма, качества и уважения к процедуре. И ученые, и судьи воскликнули бы, что здравый смысл со своими неотесанными методами не смог бы обеспечить ни основательной неспешности судебного разбирательства, ни убедительной научной достоверности; он пришел бы к заключению слишком быстро, опрометчиво и основываясь лишь на поверхностном впечатлении. Для нас же, судей и ученых, жизненно важны все эти дорогие и тяжеловесные практики, требующие выработки сложного эзотерического словаря и соблюдения невыносимо дотошных процедур, ибо только подобные меры способны уберечь нас от произвола и поверхностности суждений.

И все-таки здравый смысл прав в одном: всему этому надо когда-то положить конец. И тут наука и право, которые, казалось, объединились, защищая скорее свои процедуры, нежели свои преимущества, оказываются совершенно разными. В Государственном Совете делается все возможное для поддержания сом-

²² Помимо политических ставленников основную часть работников Совета составляют выпускники престижной *Ecole nationale d'administration*.

нения, но когда решение принято — оно принято раз и навсегда. В лаборатории же делается все возможное для достижения достоверности, но когда все кончено, сомнения остаются у коллег как предмет для будущего обсуждения, как движущая сила науки, как возможность для оценки истинности сказанного. В праве обнаруживается совершенно противоположный подход: в какой-то момент после месяцев или лет ожидания приходит время закрыть дело. И это не просто возможность, это судебская обязанность, предписываемая ему законом: судья должен вынести решение, иначе он злоупотребляет своими полномочиями. Хотя он создал все возможные препятствия, чтобы замедлить процесс, чтобы соблюсти все формальности, обеспечить коллегиальность, убедиться в собственном безразличии и отстраненности, теперь решение должно быть вынесено. В этом цель процесса совещания. Единственный способ избежать решения — вынести вердикт, что решение не может быть принято единолично, что дело настолько серьезное, что необходимо отправить его на рассмотрение в более высокую инстанцию²³. Но и подобная смена курса лишь отсрочит неизбежное. Решение будет в конце концов вынесено Государственным Советом. Он суд последней инстанции. Единственный способ избавиться от необходимости выносить решение — вынести решение.

Лаборатория устроена противоположным образом: там тоже надо преодолеть множество препятствий, но возникают они из необходимости прикрыть тыл, собрать как можно больше данных, подтвердить гипотезы, предупредить будущие возражения, выбрать лучшее оборудование, задействовать лучших специалистов. И вот когда собраны самые боеспособные аргументы, когда статья написана и выбран лучший журнал, когда тонко организована утечка информации в прессу, затем вдруг в последний момент... да нет никакого последнего момента! Вложив столько страсти, столько усилий в поиск истины, исследователи теперь не могут контролировать судьбу сделанных ими заявлений и беспечно предоставляют другим возможность заниматься их проверкой. «Скоро мы услышим их реакцию; и будущее покажет, правы мы или нет». Суд истории — довольно странная разновидность суда, ведь он лишен самой главной черты суда — безусловного обязательства вынести решение сейчас, не откладывая, не возлагая этой задачи на кого-то в будущем, возможно, более компетентного и высокопоставленного, чем ты. Собрав до-

23 В Государственном совете есть пять уровней инстанций, рассматривающих разные дела в зависимости от степени важности. Совет может быть и первой инстанцией, и последней, в зависимости от предмета обсуждения (чего мы не наблюдаем в англосаксонской системе). Он, кроме того, занимает место на вершине длинной лестницы административных трибуналов, как низших инстанций, так и апелляционных судов.

казательства собственной сдержанности и непредвзятости, судьи вдруг с величайшим высокомерием, с яростью суверена выносят окончательное решение. Ученые же, удовлетворив свою страсть к знаниям и претензии на достоверность, вдруг становятся тихими и скромными, покорно подчиняя себя остальным.

Цепочка отсылок и цепочка обязательств

Но, различив страсть, с одной стороны, и отстраненность — с другой, интерес ученого и незаинтересованность юриста, скромность и авторитетность, закрытость и открытость, мы сделали лишь поверхностное сравнение, относящееся к неопределенной области между психологией и этологией, между формальной процедурой и сутью дела. Чтобы сделать более глубоким наш анализ, цель которого — провести различие между научной и правовой деятельностью, которые так часто смешиваются, мы теперь должны, рискуя утомить читателя, очертить контуры этих двух форм изложения еще более тщательно, выявив различия между цепочками отсылок, которые так хорошо изучены антропологами науки, и правовыми цепочками отсылок, описать которые нелегко²⁴. Тем не менее эта задача не является невыполнимой, так как проследить эти два способа установления отношений можно, обратив внимание на то, каким образом осуществляется производство и обработка документации. И если в первом случае речь идет об отношениях между массивами информации, во втором — о том, что можно назвать отношениями *обязательств*. Что имеется в виду? Я попробую описать, с одной стороны, в какие отношения вступают различные носители информации в ходе эксперимента, а с другой — что происходит с досье в ходе раскрытия юридической подоплеки дела. Мое предположение состоит в том, что многие из ранее сделанных поверхностных наблюдений объясняются различиями между этими двумя способами обращения.

Прежде чем перейти к исследованию этих различий, мы должны вспомнить общий корень как правовой, так и научной деятельности — то умение, которое, передаваясь в поколениях, все еще составляет основу того, чему должен обучиться как ученый, так и юрист, а именно искусство манипуляции с текстами или записями в целом, которые собираются в замкнутом пространстве, прежде чем подвергнуться тонкой экзегезе, цель которой — их классификация и критика, установление их роли и иерархии. Представителям обоих видов деятельности эти тексты и записи замещают внешний мир, который сам по себе непостижим.

²⁴ О цепочках ссылок см.: Bruno Latour. Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies Harvard University Press. Cambridge, MA, 1999

Как для юриста, так и для ученого возможность уверенно говорить о мире возникает только тогда, когда он трансформирован — словом Божьим, математическим кодом, показаниями приборов, устами предшественников, естественным или позитивным законом — в великую книгу, которая в равной степени может быть как книгой природы, так и книгой культуры, страницы которой были порваны или перепутаны каким-нибудь приспешником дьявола, а сейчас они должны быть собраны, истолкованы, отредактированы и сшиты заново. С учеными, как и с судьями, мы оказываемся во вселенной текстов, которая, с одной стороны, связана с самой реальностью так тесно, что может замещать ее, но с другой — непостижима без непрерывной интерпретации²⁵. И в мире ученых, и в мире юристов эта непрекращающаяся деятельность порождает все новые тексты, качество, порядок и согласованность которых парадоксальным образом увеличивают сложность, беспорядок и бессвязность корпуса текстов, который они оставляют своим преемникам, вновь принимающимся за этот труд Сизифа или Пенелопы. Сшивать, ткать, пересматривать, изменять экзегезу — вот из каких занятий произошли как наука, так и право.

Экзегетическая функция хорошего исследователя и хорошего юриста видна на примере того, как тот и другой оценивают кипы разнообразных документов, относясь к каждому с той или иной степенью доверия. Так же как выражение «*Qui sera public au recueil*» имеет при описании прецедента больший вес, чем «*aux tables*», так и публикация в «Nature» или «Science» вызывает больше доверия, чем препринт, выложенный на сайте. Как ученый, так и юрист с большим уважением относятся к уже существующим публикациям (в обеих областях их можно отследить благодаря кодифицированной системе ссылок и цитирования), и все-таки оба они с подозрением и осторожностью (а иногда и с презрением) смотрят на тексты со слишком большим количеством ссылок.

Подобно тому как правительственный советник вежливо замечает, что «это решение представляется мне весьма специфическим и, по правде говоря, совсем не показательным в качестве прецедента», так и исследователь без колебаний напишет: «хотя и существует множество экспериментов, допускающих существование данного явления, окончательных доказательств получено не было». Оба крайне чутки к тонким различиям между абсолютно надежными документами и такими, которые содержат достаточно лазеек для аргументации и противоречий, позволяющих предложить альтернативную трактовку. Как юристы, так

25 Это главная тема Pierre Legendre от «L'empire de la vérité: introduction aux espaces dogmatiques industriels (Leçons II) (Fayard, Paris, 1983)» до «Sur la question dogmatique en Occident» (Fayard, Paris, 1999).

и ученые работают в коллективах, и вряд ли кто-то из них вообще смог бы сказать хоть что-то, если бы не тесное сотрудничество с коллегами. И в той, и другой области может получиться так, что все уже написано, но до сих пор ничего еще не написано, так что приходится всем вместе начинать сначала, предпринимая новую попытку интерпретации.

Однако тогда как в Государственном совете процесс письма всегда на первом плане, то в лаборатории, например, в той, где работает Россье, письмо всегда воспринимается как довод к научной работе, если не как грязная ее часть. К примеру, каждый новый член Совета, прибыв на место работы, получает два документа: «Memento du rapporteur devant les formations administratives du Conseil d'Etat» и «Guide dur apporteur dela Section du Contentieux». Эти увесистые тома, где в деталях объясняется, как составлять послания и приговоры (*arrets*), являются в первую очередь руководствами по стилю, где описанию бюрократических штампов и формулировок уделяется столько же внимания, сколько тому, как следует располагать абзацы и какой должна быть пунктуация. Хотя для будущих ученых существуют (особенно в США) курсы по тренировке навыков письма, большинство лабораторных работников были бы удивлены, обнаружив они, что их деятельность описывают как экзегетическую работу. Пока все эти особенности не были открыты антропологами науки, научные тексты воспринимались как не более чем средство доставки информации, единственным положительным качеством которого могла быть ясность, а единственным пороком — неясность. Для того чтобы воссоединить науку с ее античными корнями, эти тексты необходимо рассмотреть в свете особенностей устройства лабораторных приборов и важной роли взаимного цитирования. Только тогда научные авторы вновь предстанут перед нами герменевтами, писателями или филологами с той лишь разницей, что сравниваемые ими тексты содержат доказательства, извлеченные из явлений, подвергнутых экспериментальной проверке. Советники, с другой стороны, постоянно обсуждают, что и как они пишут, часто изъясняются трафаретными, составленными из цитат фразами. Для них текст никогда не является просто средством передачи информации и никогда не оценивается исключительно на основании критериев ясности. В самом деле, сказанное станет вполне очевидным, стоит лишь прочесть что-либо из ими написанного!

Если мы вспомним об их общем корне, станет невозможно (если вообще можно что-то добавить к огромному корпусу написанного на эту тему) отличить научные тексты, которые, как предполагается, безличны и основываются на фактах, от правовых, которые, как тоже предполагается, обладают особым свойством делать то, что в них сказано, или, смотря по обстоятельствам, говорить, что должно быть сделано. Между ними

существуют, конечно же, некоторые различия, но мы не должны торопиться сводить их ни к условному разделению фактов и права, ни к декларативным и перформативным утверждениям. Научные тексты, как я уже замечал, не похожи ни на вымышленные высказывания, столь любимые специалистами по риторике или философии языка («вода кипит при 100 градусах»), ни на юридические утверждения («решение административного суда Гренобля от 17 апреля 1992 сим отменяется»). В отличие от справочников и энциклопедий, с которыми их часто путают, научные или исследовательские тексты, возникая непосредственно в лабораториях, имеют дело не столько с фактами, которые нужно описать, сколько с той глубинной *трансформацией*, которую в действительности нельзя описать словом *информация*. Нельзя, по крайней мере пока мы не уясним себе этимологию этого последнего термина (который на самом деле означает «быть помещенным внутрь *формы*») и не начнем понимать его совершенно буквально или материально как нечто состоящее из графиков, уравнений или таблиц. Никакая *информация* не может быть получена прежде, чем пройдена последовательность такого рода *трансформаций*²⁶. Более того, ни одна научная статья не обходится лишь одним таким переносом, лишь одной репрезентацией материала в форме графика; напротив, на ее пространстве размещаются сразу дюжины их, связанные друг с другом в определенном порядке так, чтобы создать настоящую драму мыслительного процесса, цепочку рассуждений, каждое из которых ненадежно в том смысле, что стремится вобрать все релевантные аспекты предыдущего и одновременно тщательно модифицировать их так, чтобы придать дополнительные силы данной теории, формуле или интерпретации. И наконец, как я уже показал выше, весь этот процесс трансформации принимает форму заявления или ходатайства, которое отличается высокой вероятностью провала и ненадежностью, и которое автор вбрасывает в поток уже существующих публикаций²⁷. Свое истинное значение высказывание получит лишь ретроспективно, в зависимости от того, как оно будет воспринято, оказавшись в руках других авторов — его сторонников и противников.

Такого рода текст, в котором, словно в алхимической реторте, смешаны отдельные фрагменты и трансформации, имеет с расхожим представлением о «высказываниях о фактах» не больше общего, чем с правовыми документами. И если рассматривать тот крайне специфический (но не определяющий) вид деятельнос-

26 Mike Lynch and Steve Woolgar (eds.). *Representation in Scientific Practice* (MIT Press. Cambridge, MA, 1990).

27 Классический анализ всей этой алхимии см.: Ludwig Fleck. *Genesis and Development of a Scientific Fact* (University of Chicago Press. Chicago, 1935).

ти, который можно обнаружить в лабораториях, как создание грозного нагромождения цепочек ссылок, то и в судебных досье можно обнаружить многочисленные следы этого процесса, которым, правда, определяются далеко не все юридические реалии, а лишь отдельные их сегменты (в то время как в остальных ведущую роль играют специфически правовые формы деятельности). Например, на вопрос о том, была ли карта приложена к досье, можно ответить чисто остенсивно — указав на досье. Либо можно посмотреть, имело ли место решение суда приложить карту в виду ее релевантности²⁸. В этом случае мы отказываемся от одного способа формирования цепочки отсылок в пользу другого, который нам еще предстоит описать.

Различие между правом и наукой станет совершенно ясным, если мы столкнем друг с другом эти два способа. К примеру, если в ходе слушания возникает вопрос, была ли отправлена расписка в получении денег и в деле содержится нужная почтовая форма, подписанная и датированная истцом, достоверность этой ссылки не вызовет никаких вопросов. Сходным образом у собрания не возникнет сомнений в факте совершенной кандидатом накануне выборов клеветы на своего оппонента, если к досье прикреплена копия соответствующей агитационной листовки. Не вызовет подозрений и прикрепленный к досье аэроснимок, позволяющий установить, полностью парк окружен стеной или нет. Судьи прослеживают всю короткую цепочку отсылок, наслаивая, подобно геологам, географам или геодезистам, один пласт документации на другой. Эти совершенно различные, с точки зрения характера материала, чертежи, фотографии, графики и планы идентичны в том, что позволяют (в глазах судей) в череде трансформаций сохранять информацию нетронутой. Но уверенность судей очень быстро испарилась бы, если бы вместо того чтобы сделать несколько шагов по ссылкам и обратиться к карте, графику, подписи или запротоколированному мнению, они должны были пробираться сквозь дюжины трансформаций, необходимых ученому, чтобы установить прочные рациональные доказательства в своей сфере исследований. Согласился бы судья доверить свое решение электронному микроскопу, требующему сотни с лишним настроек, каждая из которых полностью трансформирует изначальный образец²⁹? Судья негодуяюще воскликнул бы, что ему нужен более прямой контакт с реальностью.

28 В одном из своих решений Совет постановил, что карта для санкции на строительство «должна считаться» прикрепленной к материалам дела — даже если физически она не представлена в приложении — при условии что с ней можно свериться в муниципалитете.

29 Peter Galison, *Image and Logic: A Material Culture of Microphysics* (University of Chicago Press, Chicago, 1997).

С другой стороны, согласился бы исследователь принимать решения, основываясь на сведениях, определяемых исключительно как «то, что содержится в документе»? Короткая цепочка отсылок, содержащихся в папке, очень скоро была бы разорвана смещениями, погрешностями и изменениями характера данных, что повергло бы ученых в ужас. Когда судья говорит, что в документах не содержится ничего, что говорило бы, что депортированный из Франции иностранец имел рожденных во Франции детей, он исходит из дискуссионной логики рассмотрения дела и довольствуется тем, что защита не приводила доводов в опровержение данного факта. «Это положение не опротестовывалось», — произносит он, дабы зафиксировать его несомненность. Такого рода процедура, требующая строго придерживаться данных в той форме, в какой они изложены в досье, заставила бы ученого похолодеть. Он, как и его критик-юрист, потребовал бы прямого, насыщенного и живого контакта с реальностью! «Оставим, наконец, документы и посмотрим, что же происходит в действительности, займемся полевыми исследованиями, опросами свидетелей, забудем жалкие доводы юристов, вырвемся из смирительной рубашки бумажного мира, не дающей нам уловить реальность». Дело в том, что исследователь путает дополнительное расследование (*supplément d'instruction*) с судебным процессом. Его вечная цель — знать больше, чем он знает сейчас, и поэтому он думает, будто существует двусторонняя дорога, ведущая от офиса Совета к фактам и обратно и позволяющая постоянно переносить информацию (должным образом трансформируя ее) все более высокого качества. Но работай юристы таким образом, они лишь накапливали бы все больше информации, так и не приближаясь к вынесению решения. Процесс расследования раздулся бы до ужасающих масштабов, а никакого решения никогда не было бы принято. Фактически целью суда стало бы исследование, а не принятие решений.

Юристы и ученые возмущены подходами друг друга к изложению фактов. И тот и другой излагают истину, но критерии истины совершенно различные. Судьи считают, что ученым доступна лишь бледная тень действительности, ведь их статьи имеют лишь косвенное отношение к описываемым в них фактам, от которых они отделены дюжинами шагов в рассуждениях и таким же количеством скачков от одной графической репрезентации к другой. Ученые, с другой стороны, не понимают, как судьи могут быть довольны содержанием своих досье, как они могут применять термин «неопровержимый факт» по отношению к доводу, которому был противопоставлен контрдовод. Ученые, в противоположность юристам, измеряют качество проделанной работы, ссылаясь на опосредующие их наблюдения и заключения приборы и теории. Не пройдя столь долгого окольного пути, они не смогли бы рассказать ни о чем, кроме того, что непосредственно до-

ступно органам чувств, а это не представляло бы никакого интереса и, как информация, не имела бы никакой ценности. Судьи в свою очередь придерживаются мнения, что качество их решений существенным образом зависит от их способности избежать двух опасностей — *ultra petitia*³⁰ и *infra petitia*: т. е., выноса такого решения, которое не будет удовлетворять требованиям ни одной из сторон либо будет избыточным по отношению к ним. Что для судьи было бы самым страшным провалом, ученым рассматривалось бы как большая удача; да, для него единственный способ достичь точности — все больше дистанцироваться от прямого контакта. И то, что ученый рассматривает как самый большой недостаток права, звучит как комплимент для советников: они твердо держатся того, что можно извлечь из досье, ничего не пропуская и не добавляя лишнего. Таким образом, у нас есть два представления о точности и таланте или о добросовестности и профессионализме.

Могли бы возразить, что различия права и науки крайне незначительны по сравнению с тем, что между ними есть общего, а именно тенденцией редуцировать весь мир к записям на бумаге. С этой чрезмерно обобщающей точки зрения, методы работы с данными — что в науке, что в праве — напоминают заворачивание одеяла в почтовый конверт. Но ведь перед нами два очень разных способа редукации, и главная цель этого раздела — показать, в чем их различие. Важно понять, что судебное досье относится к конкретному делу совсем не так, как карта к местности, если карта при этом рассматривается и как символ, и как звено в цепочке ссылок.

Цель редукации в праве — как можно быстрее установить перечень неоспоримых фактов (т. е., попросту говоря, таких, которые не вызывают возражений со стороны защиты), подвести их под те или иные законы (которые на деле представляют собой тексты), чтобы затем сформировать решение (которое в реальности представляет собой указ, т. е. текст). Редукация в науке ведет к той же самой поразительной экономии, ведь посредством нее богатство и многообразие мира во всех его измерениях заменяется текстами на бумаге. Но этот подход принципиально иной, ведь здесь, обладая листом бумаги, документом или картой, всегда можно восстановить все пройденные шаги и, возвратившись на землю, вновь напасть на след, найти дорожные указатели и геодезические вехи, выбрать более верную перспективу и точнее измерить угол. На каждой стадии своих рассуждений исследователь твердо держится за звенья этой цепи,

30 Латинское выражение, которым обозначают постановление суда, удовлетворяющее требования одной из сторон в размере, превышающем размер самих требований (например, возмещение ущерба на сумму, явно превышающую размер понесенного урона). — *Прим. перев.*

состоящей из приборов, графиков, угломерных инструментов, маркеров, классификаций и измерений, что позволяет выстраивать рассуждения таким образом, как если бы они всегда двигались лишь от подобного к подобному, оставаясь над бездной трансформаций, которые претерпевает предмет исследования. Но в праве, даже когда к рассмотрению привлекается прецедент или похожее дело, связь не бывает прочной и однозначной. Докладчик (*rapporteur*) говорит: «Один из доводов нарушает установленную процедуру ввиду того, что план не был ни подписан, ни пронумерован судебным следователем (*commissaire enquêteur*); заявление не подкреплено фактами, потому что, хотя документы и подписаны на каждой второй странице, это не может приниматься всерьез, так как в деле неподписанный лист должен рассматриваться как сфальсифицированный».

Все, на что он ссылается, обосновывая свое мнение о подлинности подписи, незамедлительно будет отвергнуто или, точнее, замещено правовым определением «листа». Сослаться на него — значит проследить некую цепочку шагов, но в данном случае факты связываются посредством нее с тем, что юристы называют квалификацией: «Является ли это листом в том смысле, в каком данный термин используется в статьях 13 – 25 Процессуального кодекса декларации общественной полезности?» (*declaration d'utilite publique*). Тот, кто держит в руках карту, держит в руках саму местность, или по крайней мере пропуск на проезд по ведущей туда двухсторонней дороге, который позволит ему в случае необходимости вернуться и узнать нечто новое. Для того, кто держит в руках досье, установлена связь, означающая, что ему больше не потребуется возвращаться к фактам и, покончив с их изучением, он сможет вынести бесспорное решение.

Разницу между отсылкой и квалификацией можно прояснить на примере следующего дела. Совет должен был решить, может ли иллюстратор журнала по садоводству, которой отказали в получении вожделенного журналистского удостоверения на том основании, что она не занималась освещением текущих событий, получить его в обход решения профессионального сообщества журналистов. Как и следовало ожидать, возникла дискуссия по поводу различия между текущими событиями и сезонными событиями: имеют ли выращенные в этом году пионы, персиковые деревья и плоды киви отношение к текущим событиям? Является ли рисовавшее их лицо корреспондентом? Но решение этого вопроса о сущности понятий ни к чему бы не привело. Вопрос не в том является ли тот, кто делает иллюстрации текущих событий в действительности истинно, фундаментальным образом журналистом и относится ли к нему это понятие на самом деле, а в том, соответствует ли его деятельность, вопреки мнению профессионального сообщества, критериям, изло-

женным в статье L761–2 Трудового кодекса. Установление этого попросту никак не связано с определением сущности, природы или истины. Или скорее связано, но самым элементарным образом: успех в решении одной из этих задач совсем не обязательно продвинет нас в рассмотрении другой, и наоборот.

Для суда значение имеет следующее: мадам Эйро притязает на статус профессионального журналиста по специальности «корреспондент-иллюстратор», ссылаясь на положение подп. 3 ст. L761–2 Трудового кодекса, где говорится: «Следующие участники издательского процесса должны считаться профессиональными журналистами: редакторы-переводчики, редакторы-стенографы, замредакторы, корреспонденты-иллюстраторы и фотокорреспонденты, но не рекламные агенты и не лица, принимающие участие в издательском процессе на непостоянной основе». Учитывая, что, согласно фактам дела, служебные обязанности мадам Эйро, работающей иллюстратором в журнале *Rustica*, состоят в иллюстрировании страниц, отведенных для описания методов и техник садоводства, и учитывая, что в данном деле эти иллюстрации связаны с текущими событиями в достаточной мере, чтобы характеризовать их создателя как корреспондента (в смысле упомянутого выше положения), мадам Эйро может претендовать на привилегии, предусмотренные ст. L761–2 Трудового кодекса.

Даже в этом простом случае два разных дискурса — дискуссия как таковая и право — остаются совершенно гетерогенными. Что имеется в виду, когда говорится, что «в данном деле эти иллюстрации связаны с текущими событиями в достаточной мере»? Сколько ни вникайте в смысл ст. L761–2, ответа на этот вопрос вы в ней не найдете. В тексте не говорится ничего, кроме того, что в этом конкретном деле судьи признали, что мадам Эйро является корреспондентом в смысле, подразумеваемом статьей. Но постойте! «Корреспондент ли она на самом деле?» — спросите вы. Что значит выражение «связаны в достаточной мере»? Взяться отвечать на этот вопрос значило бы пойти по другой цепочке отсылок, отдаляющей нас от той, которая обеспечивает хрупкую и условную связь между текстом и конкретным делом.

Ну почему же, скажете вы? Ведь это операции очень близко-го вида: всего-навсего процесс классификации. И подобно тому как и почтальон пользуется местным почтовыми кодами, написанными на конверте, чтобы отсортировать письма по ящикам, упорядоченным с помощью ZIP-кодов, так и юридическое до-сье позволяет рассортировать факты конкретного дела по соответствующим категориям, таким, к примеру, как «юридическая оплошность», «*ultra vires*» или «трудовая повинность». Но слово *классификация*, также как и слова *редукция*, *факт*, *решение* или *квалификация*, меняет свое значение в зависимости от того, какой способ изложения мы с его помощью опи-

сываем. Процесс научной классификации позволяет включать каждый конкретный случай в категорию таким образом, что, установив, что *A* — частный случай *B*, каждый, у кого есть *B*, может получить *A* или по крайней мере все его главные качества. Если *A* — частный случай ацетилхолиновых рецепторов, то, обладая знанием об ацетилхолиновых рецепторах, я буду знать все, что известно по поводу *A*. Но законодательно отдельные факты квалифицируются совсем иначе: ничто в ст. L 761–2 не скажет нам о том, окажутся факты следующего дела в достаточной мере связанными с текущими событиями или нет. Закон не содержит знания или информации об отдельных фактах (разве что в самом общем смысле); можно, к примеру, сказать, что такое-то и такое-то дело является делом об *ultra vires*, что будет означать, что аналитический отдел (*Service des analyses*) должен направить его на рассмотрение конкретному собранию, специализирующемуся на этой теме. Но подобный способ упорядочивания нужен для содействия скорее логистическим процедурам, чем правосудию. Мелкие цепочки отсылок (*A* — частный случай *B*) подчиняются такого рода цепочке, которая только и является, с точки зрения права, настоящей: *A* — частный случай *B* в смысле, определенном статьей *C*. Тогда как в науке отношение между частным случаем и категорией носит таксономический характер, а в случае с правом это истинно только в самом приблизительном смысле. И в том и в другом случае можно найти связи и дорожки, посредством которых устанавливаются отсылки текстов к событиям, и наоборот, но сети, образуемые этими связями, отличаются настолько, насколько сеть оптоволоконных кабелей отличается от городской сети газоснабжения.

Следовать цепочкой отсылок — значит подойти к вещам совершенно не так, как это делается в судебном досье. Череду трансформаций, посредством которых создается информация, устроена так, чтобы заставить участников процесса произвести редчайший из товаров — новую информацию о свежеевыкованной сущности, вступившей в контакт с наукой; о сущности, которую необходимо распознать, учесть, определить и квалифицировать таким образом, что когда все эти требуемые операции будут проделаны, к ним всегда можно будет вернуться, чтобы получить дополнительную информацию или свежие знания, пока в конце концов исследуемая сущность не будет так тщательно концептуализована, понята, воспитана, приручена и усвоена, что ее можно будет положить в черный ящик и рассматривать как нечто хорошо известное, пригодное играть в новых дискуссиях и экспериментах роль допущения. Эта динамика познавательного процесса конструирует мир через совокупности двусторонних дорожек, которыми в конечном счете наполняется вся подлежащая картографированию местность, что позволяет соединить два типа данных внутри единого дискурса об истине. Тем исследо-

вателям, которых коллеги признают успешными производителями новой и достоверной информации, наградой станет эпонимия; их имя навечно будет связано с конкретным достижением, таким как открытие законов Ньютона или закона Бойля.

Странным образом, хотя эпонимия практикуется и в праве, награждают ею не судью, а истца, чье имя навечно будет связано с важным решением, которое иногда называют поворотным для судопроизводства. Несмотря на то что имя правительственного советника иногда фигурирует в указе, в особенности если его решения публикуются, никто никогда не вспомнит, кто был автором поворотного решения, которое в обязательном порядке анонимно; и, как мы уже знаем, делается все необходимое, чтобы случившееся изменение рассматривалось как лишь еще сильнее укрепляющее правовую преемственность выражение «чем больше изменений — тем сильнее сходство» (*plus ça change, plus c'est pareil*) к своду законов применимо как нельзя лучше. Тогда как в науке делается все, чтобы воздействие новой информации на корпус уже существующего знания было как можно более опустошительным, в праве все устроено так, чтобы не возникало сомнений в том, что отдельные факты являются лишь внешним поводом для изменения, которое касается только права самого по себе, а не отдельных фактов, о которых неизвестно ничего, кроме имени истца. В праве тоже можно проследить дорожки, оплетающие весь мир, связывая между собой истцов, законодательные акты, указы и кодексы, но эти звенья не содержат новой информации: они пересекаются с доводами сторон (*moyens*) — приспособлениями, столь же особенными, сколь и информативными, которые, однако, требуют дальнейшего изучения, если мы хотим описать их удовлетворительным образом. Разница становится наиболее отчетливой в той ситуации, когда советник, обращаясь к проблемному вопросу, восклицает: «С прошлой недели мы знаем, что...». Знание, о котором идет речь, не покоится на вновь установленных отношениях между фактами и теорией, на опасном пути, проложенном цепочкой ссылок; оно означает, скорее, возможность констатировать: «Вопрос решен, тут больше нечего обсуждать».

Res judicata pro veritate habetur³¹

Ничто не связывает нас по рукам и ногам сильнее, чем правовые обязательства или достоверное знание фактов. Именно это заставило меня проделать такое, смелое сравнение двух видов деятельности, которые хотя и полностью различны, отличаются тем, что тонкие и замысловатые особенности их функциони-

31 Судебное решение должно приниматься за истину (лат.). — Прим. перев.

рования неведомы широкой публике. Однако, как мы уже видели, в популярном представлении о науке и праве черты этих двух видов деятельности смешаны до такой степени, что, опираясь на него, пытаются проделать такое сравнение бессмысленно. Как бы впечатляющи ни были различия, как бы их на каждом шаге ни акцентировали, с точностью зафиксировать их нелегко, так как, с одной стороны, сами судьи порой примеряют белый халат ученых, представляя данные последних, с другой — ученые заимствуют пурпурную мантию судей и мех горностая, чтобы подчеркнуть свой авторитет. Рискуя оставить этнографию и окунуться с головой в философию, я всё-таки обрисую ряд таких обменов ролями, чтобы отдать кесарю кесарево, а Галилею Галилеево.

Многие характеристики, обычно приписываемые ученым, на самом деле срисованы с микропроцедур, разработанных юристами с целью создания этоса незаинтересованного стороннего наблюдателя³². Равнодушные к итоговому результату, дистанция между разумом и объектом, хладнокровная строгость суждений — одним словом, все, что у нас ассоциируется с объективностью, является неотъемлемой частью не лабораторных исследований, а судебных процедур. Более того, мы должны отличать объективность как основу безразличия и беспристрастности от того, что может быть названо объектностью: ордалии — с помощью которой учёный связывает судьбу как свою собственную, так и своей речи с теми испытаниями, которые претерпевают исследуемые явления в ходе эксперимента.

В то время как объективность имеет отношение к субъекту и его внутреннему состоянию, объектность относится к объекту и его специфической судейской роли. Произносящие одну и ту же фразу — «Он мыслит объективно» — могут, таким образом, иметь в виду две различные добродетели. Одна из них сводится по сути к набору чисто субъективных качеств (отстранённость, беспристрастность, незаинтересованность). Вторая же является довольно специфической формой субъективации, в ходе которой исследователь подчиняет (*subjects*) себя экспериментальному объекту. Но здравый смысл заставляет нас восхищаться объективностью ученых не потому ли, что последние по сути выступают судьями? И когда, с другой стороны, тот же самый здравый смысл заставляет негодовать по поводу ненадежности юристов не потому ли, что они по сути работают с того же рода объектами, что и лабораторные исследователи?

Удивительно, но юридическая объективность в буквальном смысле без-объектна, она всецело является продуктом некоторых

³² По причинам, обозначенным в работе Steven Shapin и Simon Schaffer. *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life* (Princeton University Press, Princeton, 1985).

ментальных процессов, телесной *hexis*, однако при этом до сих пор не может отказаться от своего права выносить решения, апеллируя к неопровержимым фактам. Она вследствие этого полностью зависит от качества речи, манер, одежды, формы изложения от всех внешних проявлений, которые осмеивались ещё со времен Паскаля, при этом не учитывалось, что внимание к внешним проявлениям само по себе есть форма объективности, недоступная ученым. Ученые говорят невнятно о конкретных объектах, юристы же говорят о туманных объектах, но в точных терминах. Так происходит потому, что для судей нет вышестоящего органа, на который они могли бы переложить задачу вынесения решения (если, конечно, они не судьи первой инстанции). Научная объективность, с другой стороны, отличается тем, что она бес-субъектна, поскольку приспосабливается к любым душевным состояниям, ко всем видам пороков, страстей, дефектов речи или познавательных ограничений. Какими бы нечестными, невоздержанными, поспешными и пристрастными ни были исследователи, в их исследованиях никогда не будет отсутствовать объект. Над каждым из них, подобно Дамоклову мечу, висят факты или скорее даже некий странный гибрид, возникший в результате столкновения бесспорных фактов и спорящих коллег; этой угрозы достаточно, чтобы призвать к порядку даже самых пристрастных или нечестных. В работе исследователей всегда присутствует некий вышестоящий третий объект, призванный быть судьей и принимать решения от их имени; ему они передают право выносить суждения, не оглядываясь на то, объективен ли тот или иной исследователь, по своему собственному мнению³³. Что же касается судей, никто третий не может судить от их имени, и для них единственный способ достичь «объективности» — сконструировать сложный и изошренный институт по ограждению и отстранению процесса вынесения окончательного решения от вопросов совести.

Выяснив, что объективность судей — форма субъективности, а объектность ученых основана на гарантии наличия объекта, мы можем теперь перейти ко второй характерной черте, которую здравому смыслу свойственно из мира закона переносить в мир науки, а именно к праву последнего слова. Появление такого персонажа как, свидетель-эксперт, способствовало смешению двух совершенно противоположных функций, поскольку предполагало, что ученый, оставив свои обычные занятия, садится в кресло судьи Верховного суда; его свидетельство приобретает неоспоримый авторитет фактов, установленных судом (*res*

33 Согласно формулировке Isabelle Stengers. «*L'invention des sciences modernes*» (La D. ecoouverte, Paris, 1993), «эксперимент — это создание власти наделять вещи властью наделять экспериментатора властью говорить от их имени» (р. 102) (см. также Isabelle Stengers. *The Invention of Modern Science* (University of Minnesota Press, 2000).

judicata). Но между экспертом и исследователем существует различие³⁴. Для последней не существует неопровержимых фактов, раз и навсегда установленных судом науки; если бы в своих изысканиях ей пришлось столкнуться с рядом утверждений, которые, в соответствии с текущим шатким состоянием научного диспута, были объявлены несомненными, что бы она сделала? Ну конечно, она тут же поставила бы их под сомнение! Она вернулась бы в свою лабораторию, провела новый эксперимент, вскрыла черный ящик, только недавно запечатанный ее коллегами, изменила бы записи в журнале, или, в случае если она сама разделяет взгляды коллег, использовала бы эти надежные данные, чтобы построить новый эксперимент, который привел бы к возникновению новых фактов. В науке неоспоримость — это всегда высшая точка того движения, посредством которого постоянно возобновляется игра трансформации / информации. Если дискуссия подходит к концу, то лишь для того чтобы началась новая фаза бурного обсуждения сущностей, только что получивших право на существование. Когда ученого-эксперта наделяют властью принять или не принять решение, он по сути становится обладателем такого рода суверенности, которая возможна только в сфере права.

Это смешение было бы особенно вредным, поскольку то, что судьи называют последним словом, не имеет ничего общего ни с авторитетом эксперта, ни с бесконечным возобновлением дискуссии учеными³⁵. Несомненно, каким бы весомым ни был авторитет *res judicata* в системе права, имеет место то, что юристы называют исчерпыванием доступных каналов апелляции. Наиболее помпезным окончанием дела может стать исчерпывание следующего рода: «так сказано в Лебоне», «вопрос решен», «как гласит закон», «до тех пор, пока Европейский суд по правам человека не примет противоположное решение». Ничто другое из произносимого в стенах Государственного совета не звучит столь возвышенно и колоритно, как такие выражения. Когда слушание подходит к завершению, судьи должны позаботиться о том, чтобы окончательное решение не несло в себе помпезных интонаций неоспоримости. Когда римские правоведы произносили известное изречение «*Res judicata pro veritate habetur*», они имели в виду следующее: каждое принятое решение должно приниматься за истину; это означает, что его ни в коем случае нельзя путать с истиной. Столь важная фигура эксперта не имеет отно-

34 Для разъяснения упомянутого отличия см.: Michel Callon, Pierre Lascoumes et al. *Agir dans un monde incertain: essai sur la d. emocratie technique* (Le Seuil. Paris, 2001); см. также: Sheila Jasanoff. *The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers* (Harvard University Press. Cambridge, MA, 1990).

35 Изумительный пример есть в работе Michael Lynch, Ruth McNally. «Science, Common Sense and Common Law: Courtroom Inquiries and the Public Understanding of Science» (1999) 13 (2) *Social Epistemology* 183.

шения ни к модели научного исследования, когда результатом является возобновление слишком быстро прекращенной дискуссии, ни к модели судебного разбирательства, поскольку последняя требует не какого-то трансцендентного результата, а всего лишь завершения дискуссии. Такого рода имманентность проявляется в конструктивном, даже конструктивистском способе решения проблемы, при котором мы просто исходим из того, что над нами никто не стоит и что само по себе наше решение (которое по-французски звучит как *arrêt*, т. е. остановка) будет означать завершение дела. То, что мы знаем, не требует дальнейшего обсуждения: наоборот, мы знаем это именно потому, что обсуждение исчерпано. Больше некуда апеллировать. Это конец.

Можно сказать, что в этом отношении судьи предлагают ученым то, что эпистемологи называли страшным сном науки, — пример ничем не ограниченного самоуправства, когда закрытое собрание выносит решение, не ссылаясь ни на какую внешнюю инстанцию и не пользуясь иными инструментами, кроме слов, а путем простого соглашения о том, что принимать за истину. На этом основании они абсолютно свободно могли бы назвать кошку собакой, а раба свободным человеком, утверждать, что статья договора была отдельным соглашением, или извлечь из безмолвных текстов общие принципы закона, принятия которого никто никогда не видел; одним словом, использовать все преимущества технологии *fictio legis*³⁶ и поддерживать — с помощью таких вот «потемкинских деревень» — состояние, при котором граждане принимают яичницу за божий дар³⁷. Разумеется, ничто не вызвало бы у учёных, сосредоточенных на том, чтобы привести свои утверждения в максимальное соответствие с реальностью, такого раздражения, как эта возможность придумать что угодно с нуля. В этой модели можно усмотреть известную концепцию социального конструирования, призрак, призванного социологами для того, чтобы запугивать эпистемологов тем, что все поиски истины заканчиваются в запертой комнате, где на тайном голосовании принимается решение о том, что именно с этого момента будет *приниматься за истину*. Но подобно тому как свидетельства эксперта не имеют ничего общего с реальной научной работой, так и возведенная за закрытыми дверями идея социального конструирования не имеет ничего общего с реальной юридической практикой.

В очередной раз нам становятся очевидными преимущества того, чтобы не смешивать отдельные черты двух совершенно разных форм изложения. Если, с одной стороны, учёные могут предаваться своим эмоциям, быть пристрастными или предвзятыми,

36 Юридическая фикция (лат.) — Прим. перев.

37 Однако в юриспруденции *fictio* имеет совершенно точное значение. См.: Yan Thomas. *Fictio Legis: l'empire de la fiction romaine et ses limites* m. edi. evales (1995) 21 *Droits* 17.

поскольку лабораторный объект занимает то же место, что и юридический текст или прецедент, имеющий обязательную силу, то, с другой стороны, юристы, наоборот, могут производить фикции и предлагать так называемые конструктивные решения, поскольку именно в решениях, которые они выносят, отсутствует как объект, так и объективность. Что так сильно шокирует в фантастическом образе социального конструирования, так это то, что правовая модель принятия решений используется здесь для описания научных объектов: в результате особое мастерство вынесения судебных приговоров превращается в циничный кошмар самоуправства. Но задача состоит как раз в том, чтобы избежать смешивания этих двух моделей. На самом деле, предпринятая мной попытка прояснения нацелена на то, чтобы забрать у науки право последнего слова, которым она была наделена по ошибке или малодушию, и тем самым воодушевить ее на дальнейшее конструирование тех цепочек ссылок, посредством непрерывного движения которых ее здание наполняется все более и более надежной, точной и пригодной для поддержания дискуссии информацией. С другой стороны, если правовая форма изложения перестанет рассматриваться как средство поставки информации и представления истины (что на самом деле не выполнимо для нее), она сможет свободно циркулировать по тонким каналам того крайне специфического приспособления, которое только способно осуществлять перевозку и доставку бесценных грузов, известных нам как доводы (*moeyens*), квалификации, обязательства и решения.

Было бы, однако, неправильно резко противопоставлять друг другу науку, поставленную перед лицом неуловимой реальности, которая противится всем нашим попыткам манипуляции ею и которой нельзя вертеть как хочется, и правом, которое, существует исключительно в мире слов и конвенциональных интерпретаций, достигнутых на закрытом слушании, и может гласить всё, что захочет, поскольку уполномочено произносить последнее слово³⁸. Право имеет собственную стойкость, собственную твердость, обоснованность, непреклонность, позитивность и даже собственную объективность, у которой, хотя мы и допустили, что она сконструирована, нет причин завидовать научному реализму. Наше знание о том, что ученые говорят истину о явлениях, возникает именно благодаря тому, что они могут воздействовать на них, трансформировать и проверять их тысячами различных способов, а также потому, что они могут использовать экспериментальные технологии для того, чтобы проникнуть в самые тончайшие детали их материального существования. Имен-

38 В этом проявляется уязвимость термина «легитимный», который часто и неверно употребляют социологи, неправильно толкуя право и общество, См.: Yan Thomas. *Fictio Legis: l'empire de la fiction romaine et ses limites* m. edi. evales (1995) 21 *Droits* 17.

но потому, что реальность не является чем-то неуловимым, а также потому, что она не имеет никакого отношения к фактическим положениям дел, придуманным эпистемологией, наука и способна вполне точно говорить о реальности. Таким образом, бессмысленно представлять различие науки и права как различие между объектами и знаками, между жестким и мягким, бесспорным и произвольным. Предостерегая принимать *res judicata* за истину, я вовсе не имею в виду, что это стало бы оправданием для некоей формы цинизма. Я лишь утверждаю, что *res judicata* имеет более важные задачи, чем подражание истине или приближение к ней; она должна вершить справедливость и провозглашать закон в соответствии с текущим состоянием юридических текстов, причём делать это, принимая во внимание прецеденты и не обращаясь к другим инстанциям, кроме судей, которым некому перепоручить свои обязанности.

Могли бы возразить, что тем самым попросту возрождается старое различие суждений о фактах и суждений о ценностях. Что касается меня, то я скорее склонен рассматривать само это различие как отголосок выдумки великих английских философов XVII века, которые по причинам скорее политическим неприемлемым образом скрестили право с возникавшими в то время экспериментальными науками. Действительно, странно наблюдать, как, выстраивая свою картину науки, эмпирики заимствуют определение факта у судей для того, чтобы применить его в науке, ведь, как мы уже видели, оно никоим образом не схватывает отношения исследователей и их объектов. В воображении эмпириков, сырые факты, сущностные данные или чувственные данные имеют любопытное свойство быть одновременно незначительными и неопровержимыми. Они образуют сырой материал суждения, который упорядочивается и комбинируется человеческим умом. Но разве не точно таким же образом работают с фактами правоведы, с точки зрения которых, факты должны быть установлены как можно скорее, чтобы можно было сразу перейти к тому, что действительно важно, а именно, к процессам классификации или ученого толкования? Но в какой лаборатории можно найти исследователя, имеющего дело с простыми чувственными данными? Только эмпирик мог вообразить, будто отношение между научной статьей и тем, что она описывает, представляет собой нечто вроде отношения чего-то доступного сомнению, с одной стороны, и чего-то бесспорного с другой. Если мы признаем, что само понятие «сырые факты» — это результат странного скрещивания права и науки, то теперь нам проще понять, как такие добродетели, как отстраненность, безразличие, беспристрастие и незаинтересованность, характеризующие работу судей, оказались перенесены на ученых или даже на такую невероятную и крайне политизированную историческую фигуру, как эксперт, который способен привести дискуссию к завершению, так как он при-

сваиваивает способность оставлять другим участникам простор для аргументации или, наоборот, связывать их, апеллируя к фактическому положению дел. Это отклонение от нормальной работы научного исследователя, но, в еще большей степени это крах права, представители которого только потому и позволяли себе поставить в дискуссии точку, что не могли делегировать завершение диспута никакому другому органу, но лишь тонкой имманентности права самого по себе. С помощью этого впечатляющего манёвра эмпиризм связал добродетели политики, науки и права в гордиев узел, обратив их тем самым в пороки.

Представления о фактических положениях дел в XVII веке были во многом результатом умолчания о том, что сейчас всё больше привлекает наше внимание, а именно общей этимологии, связывающей вещи и дела, *things* и *cases*, тяжбы с причинами, *cause* с *cause*, вещь и *Ding*³⁹. В результате странной инверсии, или, может быть, в результате атаки вещей, чуждых социальному миру, научные объекты снова стали частыми предметами дискуссий в парламенте или в зале суда. Две этимологии, родившиеся в зале суда или по крайней мере на предшествовавших судах чрезвычайных собраниях, по мере своей эволюции постепенно отделились друг от друга в силу мнимого различия между независимым судебным рассмотрением и верховным трибуналом экспертов, говорящих от имени неопровержимых фактов, следовательно, находящихся вне сферы человеческих дел, разбирательств и тяжб. Однако теперь, когда всё, что относится к нашему коллективному существованию, стало объектом в лаборатории, кажется, что по мере того как проект модерна постепенно исчерпывает себя, не существует больше факта, который не являлся бы в то же время тяжбой или заявлением. Вещь снова стала Вещью, *Ding*. Вот почему становится всё более важным, чтобы объекты вернулись, наконец, к своим естественным истокам и чтобы особенности науки и права не смешивались друг с другом. Разумеется, бессмысленно надеяться разобраться в столь тесно переплетённых между собой предметах, как наука и право, до тех пор пока мы описываем работу ученых в терминах, которые стали к ней применяться с целью узурпации правовой или политической власти; точно так же невозможно требовать, чтобы юристы полностью отказались от использования научных форм изложения. Проводя различие между неопровержимыми фактами и относительными ценностями, философы модерна ссылались на природу объектов, не уделяя должного внимания различию задач ученых и юристов. Но теперь различие должно быть проведено иначе, а именно путём обращения к природе этих двух про-

39 Первый парламент Исландии звался и до сих пор называется Вещью. Развернутое изложение довода см.: Bruno Latour. *Politiques de la nature: comment faire entrer les sciences en d. emocratie* (La D. ecouverte. Paris, 1999).

фессий, представители которых занимаются в целом основаниями (*causes*), или обстоятельствами (*cases*). Важно не пытаться заставить науку выносить приговоры, а закон глаголить истину.

Это привело бы к спутыванию тех последних признаков, которые все еще позволяют различать эти формы вовлеченности. Тогда как научное исследование может быть вовлечено в бурную и жаркую историю разногласий и преобразований, историю, которая постоянно обновляется, закон имеет гомеостатическое свойство, основанное на обязательстве сохранять хрупкую ткань правил и текстов и гарантировать, что каждый всегда понимает другого. Тогда как в праве высоко ценится предсказуемость (*securite juridique*), в науке о такой вещи, как надежность, не может идти речи. Ученый, коль скоро он вложил свой собственный камень в здание дисциплины, должен видеть себя в роли Самсона, распатывающего колонны храма, переворачивающего парадигмы, ниспровергающего здравый смысл и крушащего старые теории. Юрист, даже когда он приводит особо дерзкий аргумент, ставящий под сомнение существующие прецеденты, должен заботиться о неприкосновенности правового здания, последовательности в отпращивании властных полномочий и в применении закона. Научное знание может стерпеть имеющиеся в нём пустоты, закон должен быть безупречным. Наука может существовать, разрываемая противоречиями, в то время как закон призван восстанавливать равновесие. Хотя вполне можно с восхищением говорить о революционной науке, революционные законы всегда были так же ужасающи, как и суды с чрезвычайными полномочиями. Один человек, у которого я брал интервью, сказал: «Главное, что нас заботит, — это стабильность; мы должны вспахивать максимально ровные и глубокие борозды, поскольку стороны конфликта ждут от нас согласованности и ясности». Все те особенности правовой деятельности, которые здравый смысл находит раздражающими (медлительность, приверженность традиции, временами реакционность), сущностно необходимы для функционирования права. Подобно нормам, юристы держат в руках тонкую нить с целым набором постановлений, текстов и прецедентов, эта нить может быть порвана только в случае деградации права, вплоть до отказа от принципа справедливости. Тогда как ученый может довольствоваться неполной информацией, так как знает, что мощь его приборов в будущем поможет другим ученым сделать науку более точной и еще дальше распространить цепочки ее ссылок; судья обязан обеспечить гарантию того, что дыры будут немедленно заделаны, прорехи безотлагательно заштопаны, пустоты заполнены, а дела разрешены. Ткань науки хотя и способна покрыть собой всё, оставляет при этом множество прорех, но ткань закона обязана, подобно кружевной скатерти, покрывать все равномерно и полностью.